ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Л. Н. Толстой

ДЕТСТВО • ОТРОЧЕСТВО



Детство. Отрочество (сборник)
Лев Николаевич Толстой

Аннотация
Лев Николаевич Толстой. Детство. Отрочество
Ступени великого восхождения
Детство
- Глава I. Учитель Карл Иваныч
- Глава II. Maman
- Глава III. Папа
- Глава IV. Классы
- Глава V. Юродивый
- Глава VI. Приготовления к охоте
- Глава VII. Охота
- Глава VIII. Игры
- Глава IX. Что-то вроде первой любви
- Глава X. Что за человек был мой отец?
- Глава XI. Занятия в кабинете и гостиной
- Глава XII. Гриша
- Глава XIII. Наталья Савишна
- Глава XIV. Разлука
- Глава XV. Детство
- Глава XVI. Стихи
- Глава XVII. Княгиня Корнакова
- Глава XVIII. Князь Иван Иваныч

Глава XIX. Ивины
Глава XX. Собираются гости
Глава XXI. До мазурки
Глава XXII. Мазурка
Глава XXIII. После мазурки
Глава XXIV. В постели
Глава XXV. Письмо
Глава XXVI. Что ожидало нас в деревне
Глава XXVII. Горе
Глава XXVIII. Последние грустные воспоминания
Отрочество
Глава I. Поездка на долгих
Глава II. Гроза
Глава III. Новый взгляд
Глава IV. В Москве
Глава V. Старший брат
Глава VI. Маша
Глава VII. Дробь
Глава VIII. История Карла Иваныча
Глава IX. Продолжение предыдущей
Глава X. Продолжение
Глава XI. Единица
Глава XII. Ключик
Глава XIII. Изменница
Глава XIV. Затмение

Глава XV. Мечты
Глава XVI. Перемелется, мука будет
Глава XVII. Ненависть
Глава XVIII. Девичья
Глава XIX. Отрочество
Глава XX. Володя
Глава XXI. Катенька и Любочка
Глава XXII. Папа
Глава XXIII. Бабушка
Глава XXIV. Я
Глава XXV. Приятели Володи
Глава XXVI. Рассуждения
Глава XXVII. Начало дружбы
Комментарии
Детство
Отрочество

Аннотация

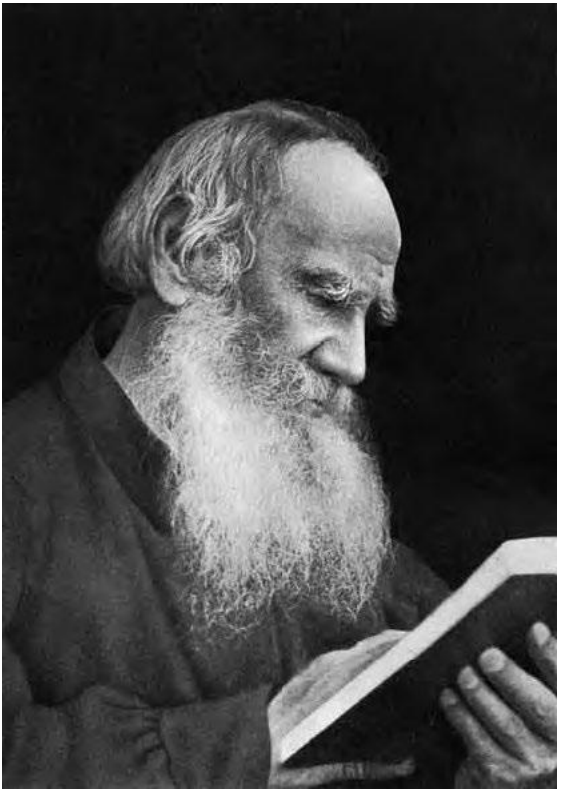
В книгу входят широко известные повести «Детство» и «Отрочество» из трилогии «Детство. Отрочество. Юность» – раннего произведения писателя.

Для среднего школьного возраста.

Лев Николаевич Толстой
Детство. Отрочество

© Гущин К. А., иллюстрации, 1970
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2003

* * *



Лев Толстой

1828—1910

Ступени великого восхождения

Л. Н. Толстому было двадцать четыре года, когда в лучшем, передовом журнале — «Современник» — появилась повесть «Детство». В конце печатного текста читатели увидели лишь инициалы: «Л. Н.».

Отправляя свое первое создание редактору журнала Н. А. Некрасову, Толстой приложил деньги — на случай возвращения рукописи; ответ же просил адресовать на имя графа Николая Николаевича Толстого. Старший брат будущего великого писателя, немного тоже литератор, служил офицером в русской армии на Кавказе. Там же находился в ту пору и Лев Николаевич.

Отклик редактора, более чем положительный, обрадовал молодого автора «до глупости». Первая книга Толстого — «Детство» — вместе с последующими двумя повестями — «Отрочеством» и «Юностью» — стала и первым его шедевром. Романы и повести, созданные в пору творческого расцвета, не заслонили собой эту вершину.

«Это талант новый и, кажется, надежный», — писал о молодом Толстом Н. А. Некрасов. «Вот,

наконец, преемник Гоголя, нисколько на него не похожий, как оно и следовало», — вторил Некрасову И. С. Тургенев. Когда появилось «Отрочество», Тургенев написал, что первое место среди литераторов принадлежит Толстому по праву и что скоро «одного только Толстого и будут знать в России».

Внешне незамысловатое повествование о детстве, отрочестве и юности близкого автору по происхождению и нравственному облику Николеньки Иртеньева открыло для всей русской литературы новые горизонты. Ведущий критик тех лет Н. Г. Чернышевский, рецензируя «Детство и Отрочество», «Военные рассказы» Толстого, определил суть художественного новаторства молодого писателя двумя терминами — «диалектика души» и «чистота нравственного чувства». Психологический анализ существовал в реалистическом искусстве и до Толстого. В русской прозе — у Лермонтова, Тургенева, молодого Достоевского. Открытие Толстого состояло в том, что для него исследование душевной жизни героя сделалось главным среди других художественных средств. Н. Г. Чернышевский писал: «Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего бо-

лее очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином»[1].

Небывало пристальный интерес к душевной жизни имеет для Толстого-художника принципиальное значение. Таким путем открывает писатель в своих героях возможности изменения, развития, внутреннего обновления, противоборства среде.

По справедливому мнению исследователя, «идеи возрождения человека и народа… составляют пафос творчества Толстого… Начиная со своих ранних повестей, писатель глубоко и всесторонне исследовал возможности человеческой личности, ее способности к духовному росту, возможности ее приобщения к высоким целям человеческого бытия»[2].

---

[1] Примечания: 1

Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч: В 15 т. Т. 3. М.: Гослитиздат, 1947. С. 422–423.

[2] Примечания: 2

Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М.: Сов. писатель, 1963. С. 398.

«Подробности чувств», душевная жизнь в ее внутреннем течении выступают на первый план, отодвигая собою «интерес событий». Сюжет лишается всякой внешней событийности и занимательности и до такой степени упрощается, что в пересказе его можно уложить в несколько строк. При этом нужно упомянуть такие, например, события: учитель — немец Карл Иваныч — над головой спящего Николеньки прихлопнул муху; маман за завтраком отложила шесть кусочков сахару для любимых слуг; папа разговаривает с приказчиком; Иртеньевы собираются на охоту. И в «Отрочестве»: поездка «на долгих»; гроза; новый гувернер… Интересны не события сами по себе, интересны контрасты и противоречия чувств. Они-то, собственно, и являются предметом, темой повествования.

Огромная художественная смелость проявилась в том, что большая повесть — «Детство» — построена как рассказ о двух днях: один в деревне, другой — в Москве. Последние главы — как бы эпилог.

«Люди как реки» — знаменитый афоризм из романа «Воскресение». Работая над последним своим романом, в дневнике Толстой записал: «Одно из величайших заблуждений при суждениях о

человеке в том, что мы называем, определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все: все возможности, есть текучее вещество». Суждение это почти буквально повторяет запись, сделанную в июле 1851 года, то есть как раз в пору «Детства»: «Говорить про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д… слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку».

Уловить и воплотить «текучее вещество» душевной жизни, само формирование человека — в этом главная художественная задача Толстого. Замысел его первой книги определен характерным названием: «Четыре эпохи развития». Предполагалось, что внутреннее развитие Николеньки Иртеньева, а в сущности — всякого человека вообще, если он способен к развитию, будет прослежено от детства до молодости. И нельзя сказать, что последняя, четвертая часть осталась ненаписанной. Она воплотилась в других повестях молодого Толстого — «Утре помещика», «Казаках».

«Текучее вещество» человеческого характера наиболее отзывчиво и подвижно в ранние годы

жизни, когда каждый новый день таит в себе неисчерпаемые возможности для открытия неизведанного и нового, когда нравственный мир формирующейся личности восприимчив ко всем «впечатленьям бытия».

С образом Иртеньева связана одна из самых любимых и задушевных мыслей Толстого — мысль о громадных возможностях человека, рожденного для движения, для нравственного и духовного роста. Новое в герое и в открывающемся ему день за днем мире особенно занимает Толстого. Слово «новый» — едва ли не самый распространенный и характерный эпитет первой книги. Оно вынесено в заглавия («Новый взгляд», «Новые товарищи») и стало одним из ведущих мотивов повествования. Способность любимого толстовского героя преодолевать привычные рамки бытия, не коснеть, но постоянно изменяться и обновляться, «течь» таит в себе предчувствие и залог перемен, дает ему нравственную опору для противостояния окружающей его застывшей и порочной среде…

Поэзия детства– «счастливой, счастливой, невозвратимой поры» — сменяется «пустыней отрочества», когда утверждение своего «*я*» происходит в непрерывном конфликте с окружа-

ющими людьми, чтобы в новой поре — юности — мир оказался разделенным на две части: одну — освещенную дружбой и духовной близостью; другую — нравственно враждебную, даже если она порою и влечет к себе. При этом верность конечных оценок обеспечивается «чистотой нравственного чувства» автора.

В жанровых рамках повествования о детстве, отрочестве и юности не было места для исторических экскурсов и философских размышлений о русской жизни, какие появятся в творчестве последующих лет. Тем не менее и в этих художественных пределах Толстой нашел возможность для того, чтобы в определенной исторической перспективе отразить всеобщую неустроенность и беспокойство, которые его герой — и он сам в годы работы над трилогией — переживал как душевный конфликт, как внутренний разлад.

Толстой писал не автопортрет, но скорее портрет ровесника, принадлежавшего к тому поколению русских людей, чья молодость пришлась на середину века. Война 1812 года и декабризм были для них недавним прошлым, Крымская война — ближайшим будущим; в настоящем же они не находили ничего прочного, ничего, на что можно было бы опереться с уверенностью и надеждой.

Вступая в отрочество и юность, Иртеньев задается вопросами, которые мало занимают его старшего брата и, вероятно, никогда не интересовали отца: вопросами отношений с простыми людьми, с Натальей Савишной, с широким кругом действующих лиц, представляющих в повествовании Толстого народ. Иртеньев не выделяет себя из этого круга и в то же время не принадлежит к нему. Но он уже ясно открыл для себя правду и красоту народного характера. Искание национальной и социальной гармонии началось, таким образом, уже в первой книге в характерно толстовской форме психологического историзма. В 1847 году, будучи студентом Казанского университета, Толстой записал в дневнике: «Перемена в образе жизни должна произойти. Но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души».

Стремление вести себя так, как ведут себя «большие», само по себе вполне естественно. Но беда в том, что поведение «больших» и весь уклад взрослой жизни совершенно неестественны и враждебны герою. Один из важных стимулов развития характера Иртеньева заключен в том, что он постепенно открывает для себя не только

«среду», но прежде всего свое первородное «я», которое постоянно искажается в подражании и притворстве и снова и снова утверждает себя в столь же постоянном самоанализе.

В главах «Отрочества», посвященных жизни Иртеньева в Москве, где француз Сен-Жером добросовестно и со знанием дела воспитывает его в духе «comme il faut», с большой драматической силой звучит мотив отчуждения и душевного одиночества. Причина жестокой ссоры с Сен-Жеромом — не шалость или простое упрямство, но скорее несовместимость характеров. Иртеньев не в состоянии ужиться с гувернером, который «имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности». В черновиках «Отрочества» к прямому столкновению с французом приведен не только главный герой, но и простой человек, слуга Василий, не желающий подчиняться новому господину — «мусью» Сан-Жиро.

И Николенька, и слуги (что для Толстого чрезвычайно важно) иначе относятся к доброму немцу Карлу Иванычу. Но авторский взгляд здесь полон иронии. В художественном плане всей

книги особенно важна история Карла Иваныча. С нею в повествовании возникает определенная историческая перспектива и слой воспоминаний о баснословных временах наполеоновских войн. Карл Иваныч, с его халатом, шапочкой и хлопушкой для мух, оказывается, был под Ульмом, Ваграмом, Аустерлицем, бежал из плена и вообще совершал все то, что, по мнению Иртеньева, совершали необыкновенные люди, герои. «Неужели вы тоже воевали? — спросил я, с удивлением глядя на него. — Неужели вы тоже убивали людей?»

Как выясняется, Карл Иваныч никого не убивал. Его история рассказана в подчеркнуто бытовом, прозаическом плане и как будто пародирует избитые образы и ходовые сюжетные штампы романтизма: «Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихонько вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота».

Уже в первой книге блистательно проявилось искусство Толстого сочетать иноязычное слово, как характерную деталь эпохи и образа, со всей стихией русского национального слова. «Я, приводя его речь, не коверкаю слов, как он

коверкал», — сказано о речи Карла Иваныча. Для этого потребовалась большая работа и большой художественный такт.

С характерным, рано сложившимся чувством стиля Толстой противопоставил в повествовании столичную и деревенскую жизнь героя. Стоит Иртеньеву забыть о том, что он — человек «comme il faut», оказаться в родной стихии и стать самим собой, как исчезает «иноплеменное» слово и появляется чисто русское, лишь слегка окрашенное диалектизмом. В пейзажных описаниях, в образе старого дома, в портретах простых людей, в стилевых оттенках повествования заключена одна из главных идей трилогии — мысль о национальном характере и национальном образе жизни как первооснове исторического бытия.

В описаниях природы, в сценах охоты, в картинах деревенского быта Толстой открывал своему герою неведанную для того страну — родину:

«Необозримое, блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким, синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны».

В «Отрочестве»: широкая лента дороги, длин-

ный обоз огромных возов, незнакомая деревня и множество новых людей, которые «не знают, кто мы такие и откуда и куда едем», гроза, озимое поле и роща после грозы — как широко и поэтически крупно написаны эти страницы. Прочитав «Отрочество», Н. А. Некрасов написал Толстому: «Такие вещи, как описание летней дороги и грозы… и многое, многое дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе…»[3]

Дом, усадьба, родная земля олицетворяют в глазах Иртеньева родину, и трудно не видеть, как много в этом олицетворении характерно толстовского, личного. В очерке «Лето в деревне» (1858) он писал: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его. Хорошо ли, дурно ли, но я не знаю другого чувства родины».

Л. Громова-Опульская

---

[3] Примечания: 3

Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. М.: Гослитиздат, 1952. Т. 10. С. 205.

Детство



Глава I
Учитель Карл Иваныч



12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что уби-

тая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает… противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка– какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Aui, Kinder, auf!., s'ist Zeit. Die Mutter ist schon

im Saal[4], — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nil, nun, Faulenzer![5] — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie[6], Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать

---

[4] Примечания: 4
Вставать, дети, вставать!., пора. Мать уже в зале (*нем.*).

[5] Примечания: 5
Ну, ну, лентяй! (*нем.*)

[6] Примечания: 6
Ах, оставьте (*нем.*).

меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные

башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind sie bald fertig?[7] — послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги

---

[7] Примечания: 7
Скоро ли вы будете готовы? (*нем.*)

— учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»[8], в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплета, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч бóльшую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На круж-

---

[8] Примечания: 8
«История путешествий» (*фр.*).

ке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза

смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber[9] Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крести-

---

[9] Примечания: 9
Милый (*нем.*).

ками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженая

липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

Глава II
Maman



Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти вос-

поминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такою, какою она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды dementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только arpeggio[10]. Подле нее вполуоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не

[10] Примечания: 10
Арпеджио — звуки аккорда, следующие один за другим.

отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»[11], — еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

— Ich danke, lieber[12] Карл Иваныч, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но

---

[11] Примечания: 11
Раз, два, три, раз, два, три (*фр.*).

[12] Примечания: 12
Благодарю, милый (*нем.*).

всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иваныч… Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала maman, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

— Постойте на минутку, Мими, — сказала maman Марье Ивановне с улыбкой, — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.



...Перед роялем сидела черномазенькая моя

сестричка Любочка и… с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi.

Поздоровавшись со мною, maman взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, maman, — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, — разговор, в котором приняла участие и Мими, — maman положила на поднос шесть кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату,

удержавшую еще от времен дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

Глава III
Папа



Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив

руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

— Ах, Боже мой милостивый! чтó с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложением восьмисот рублей…

Яков подвинул счеты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.

— …для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей… так или нет? Залогов

из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, — кладу по сорок пять копеек, — ты получишь три тысячи; следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч… так или нет?

— Так точно-с, — сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе, — продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу), — ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую

жилистую руку, которая лежала на моем плече.

— Слушаю-с, — сказал Яков. — А какое приказание будет насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня maman.

— Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить:

— Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить, — продолжал он с расстановкой, — что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена… (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах, — прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

— Отчего?

— А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом Богом божился, что денег у

него нет… да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

— Что же он говорит? — спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

— Да известно что, говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судыр*ь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить, положим, что и продастся на три тысячи…

Он кинул на счеты три тысячи и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза папа, с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать… «

Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

— Я распоряжений своих не переменю, —

сказал он, — но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.

— Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.

— Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, — сказал он. — Вы будете жить у бабушки, а maman с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хоро-

шо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.

«Так вот что предвещал мне мой сон! — подумал я, — дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».

Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет; это славно! — думал я. — Однако жалко Карла Иваныча. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта… Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Сказав с Карлом Иванычем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем чтобы на прощанье выехать после обеда послушать молодых гончих, папа,

против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.

По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца — Милка.

— Милочка, — говорил я, лаская ее и целуя в морду, — мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.

Я расчувствовался и заплакал.

Глава IV
Классы



Карл Иваныч был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смот-

рел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте, где один говорит: «Wo kommen Sie her?»[13], а другой отвечает: «Ich komme vom Kaffe-Hause»[14], — я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: «Haben Sie die Zeitung nicht gelesen?»[15] Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.

Карл Иваныч рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощенья, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.

---

[13] Примечания: 13
Откуда вы идете? (*нем.*)

[14] Примечания: 14
Я иду из кофейни (*нем.*).

[15] Примечания: 15
Вы не читали газеты? (*нем.*)

Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.

— Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? — сказал Карл Иваныч, входя в комнату.

— Как же-с, слышал.

Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иваныч сказал: «Сиди, Николай!» — и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.

— Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? — говорил Карл Иваныч с чувством.

Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.

— Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, Николай, — продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку, — что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да! тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен; а теперь, — прибавил он, иронически улыбаясь, — теперь дети *большие стали: им надо серьезно учиться.* Точно они здесь не учатся,

Николай?

— Как же еще учиться, кажется, — сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы.

— Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, — сказал он, прикладывая руку к груди, — да что она?., ее воля в этом доме все равно, что вот это, — при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи. — Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал не нужен: оттого, что я не льщу и не потакаю во всем, как *иные люди.* Я привык всегда и перед всеми говорить правду, — сказал он гордо. — Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба… не так ли, Николай?

Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, — но ничего не сказал.

Много и долго говорил в этом духе Карл Иваныч: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем

портном Schönheit и т. д., и т. д.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.

Вернувшись в классную, Карл Иваныч велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von allen Leiden-schaf-ten die grau-samste ist… haben sie geschrieben?»[16] Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой: «Die grausamste ist die Undank-bar-keit… Ein grosses U»[17]. В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.

— Punctum[18], — сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.

---

[16] Примечания: 16
Из всех пороков самый ужасный… написали? (*нем.*)

[17] Примечания: 17
Самый ужасный — это неблагодарность… с прописной буквы (*нем.*).

[18] Примечания: 18
Точка (лат.).

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.

Было без четверти час; но Карл Иваныч, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас: он то и дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька — двенадцатилетняя дочь Мими) идут из саду; но не видать Фоки — дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Иваныча, бежать вниз.

Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.

Глава V
Юродивый



В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только

нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.

— Ага! попались! — закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, — потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. — О-ох жалко! О-ох больно!., сердечные... улетят, — заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя

было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.

Это был юродивый и странник Гриша.

Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.

Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и maman ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам.

Как только Карл Иваныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иваныч. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «Bonjour, Mimü», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.

Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: «Parlez donc français»[19], а тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом — только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez donc avec du pain» или «Comment ce que vous tenez votre fourchette?»[20] «И какое ей до нас дело! — подумаешь. — Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его

---

[19] Примечания: 19
Говорите же по-французски (*фр.*).

[20] Примечания: 20
«Ешьте же с хлебом», «Как вы держите вилку?» (*фр.*)

ненависть к *иным людям.*

— Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту, — сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.

— Хорошо, постараемся.

Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: «Жалко!., улетела… улетит голубь в небо… ох, на могиле камень!..» и т. п.

Maman с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.

— Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи, — сказала она, подавая отцу тарелку с супом.

— Что такое?

— Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.

Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

— Хотел, чтобы загрызли… Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей, *большак*[21], что бить? Бог простит… дни не такие.

— Что это он говорит? — спросил папа, пристально и строго рассматривая его. — Я ничего не понимаю.

— А я понимаю, — отвечала maman, — он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «Хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил», — и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его.

— А! вот что! — сказал папа. — Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих господ, — продолжал он по-французски, — но этот особенно мне не нравится и должен быть…

— Ах, не говори этого, мой друг, — прервала его maman, как будто испугавшись чего-нибудь, — почем ты знаешь?

— Кажется, я имел случай изучить эту породу людей — их столько к тебе ходит, — все на один покрой. Вечно одна и та же история…

Видно было, что матушка на этот счет была со-

---

[21] Примечания: 21
Так он безразлично называл всех мужчин. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

вершенно другого мнения и не хотела спорить.

— Передай мне, пожалуйста, пирожок, — сказала она. — Что, хороши ли они нынче?

— Нет, меня сердит, — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы maman не могла достать его, — нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман.

И он ударил вилкой по столу.

— Я тебя просила передать мне пирожок, — повторила она, протягивая руку.

— И прекрасно делают, — продолжал папа, отодвигая руку, — что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ, — прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок.

— Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем *вериги* в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, — трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний, — прибавила она

со вздохом и помолчав немного, — je suis payee pour y croire[22]; я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.

— Ах, что ты со мной сделала! — сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими. (Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) — Зачем ты мне напомнила об его ногах? я посмотрел и теперь ничего есть не буду.

Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и, наконец, решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу, и — что было еще приятнее — maman сказала,

---

[22] Примечания: 22
Я верю в них недаром (*фр.*).

что она сама поедет с нами.

Глава VI
Приготовления к охоте



Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей — всё с величайшею подробностию, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь» — как-то странно звучало в ушах maman: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и

Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка maman продолжала твердить, что она все гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упадшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками — кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать

на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иваныч всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Подавай!» — и, раздвинув ноги, твердо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне ка-

жется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, maman, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

— Эта для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.

— Собак не извольте раздавить, — сказал мне какой-то охотник.

— Будь покоен: мне не в первый раз, — отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания и, оглаживая ее, несколько раз спросил:

— Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош — точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, — особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот послышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться.

Стремянный подвел лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

Глава VII
Охота



Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную,

которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка,

на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, — все это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженной формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили

шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

— Есть у тебя платок? — спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку…

— Жирана? — сказал я с видом знатока.

— Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходить!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевленнее раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый… Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий, заливистый гул. *Остров был голосистый, и гончие варили варом.*

Услыхав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой

минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими, обомшалыми хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был

отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, — только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было

бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:

— Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнали дальше, как заатукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, — но все не трогался с места…

Глава VIII
Игры



Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Таврило, примяв около себя зеленую, сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно

освежал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

— Ну, во что? — сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве. — Давайте в Робинзона.

— Нет… скучно, — сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья, — вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»[23], которого мы читали незадолго пред этим.

— Ну, пожалуйста… отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к нему девочки. — Ты будешь Charles, или Ernest,

---

[23] Примечания: 23
«Швейцарского Робинзона» (*фр.*).

или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

— Право, не хочется — скучно! — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, — сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас

к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, — и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..

Глава IX
Что-то вроде первой любви



Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась; мы все, головами вместе, припали к земле — смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют при-

вычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «C'est un geste de femme de chambre»[24]. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

— Что за нежности?

У меня же были слезы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя

---

[24] Примечания: 24
Это жест горничной (*фр.*).

и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, гарцевали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с помощью хлыста и ног разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать или крикнуть? Но несносная лошадка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.

Глава X
Что за человек был мой отец?



Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни бы-

ли карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий.

Большой статный рост, странная, маленькими шажками, походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении, пришептывание, и большая во всю голову лысина: вот наружность моего отца, с тех пор как я его запомню, — наружность, с которою он умел не только прослыть и быть человеком *â bonnes fortunes*[25], но нравиться всем без исключения — людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться.

Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком *очень большого света*, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях свет-

---

[25] Примечания: 25
Удачливым (*фр.*).

скость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, — казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящие связи, которые он имел частию по родству моей матери, частию по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички… Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, аккомпанируя

себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А..., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня, молоду», как ее певала Семенова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.

В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, — но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастие или удовольствия, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низ-

кую подлость.

Глава XI
Занятия в кабинете и гостиной



Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Maman села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца,

и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился; я сделал из него дерево, из дерева — скирд, из скирда — облако и, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло.

Maman играла второй концерт Фильда — своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Maman часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.

Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия!» — подумал я. Мне

казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло; в этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках; оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. Впросонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Как бы не случилось какого-нибудь несчастия, — подумал я, — Карл Иваныч рассержен: он на все готов…»

Я опять задремал.

Однако несчастия никакого не случилось; через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иваныч, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.

— Знаешь, что́ я сейчас решил? — сказал он веселым голосом, положив руку на плечо maman.

— Что, мой друг?

— Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан; а семьсот рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c'est un très bon diable[26].

Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Иваныча.

— Я очень рада, — сказала maman, — за детей, за него: он славный старик.

— Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти пятьсот рублей в виде подарка… но что забавнее всего — это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть, — прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Иваныча, — прелесть!

Вот содержание этой записки:

«Для детьей два удочка — 70 копек.

Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках — 6 р. 55 к.

Книга и лук, подарка детьям — 8 р. 16 к.

Панталон Николаю — 4 рубли.

Обещаны Петром Александровичь из Москву в 18.. году золотые часы в 140 рублей.

Итого следует получить Карлу Мауеру, кроме

---

[26] Примечания: 26

И потом, в сущности, он славный малый (*фр.*).

жалованию — 159 рублей 79 копек».

Прочтя эту записку, в которой Карл Иваныч требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, — и всякий ошибется.

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.

— Да, Петр Александрыч, — сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи), — я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам, — прибавил он, одной рукой

утирая слезы, а другой подавая счет.

Что Карл Иваныч в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.

— Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами, — сказал папа, потрепав его по плечу, — я теперь раздумал.

Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.

— Что?

— Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх — Гриша спит во второй комнате, — в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.

— Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.

Девочки выбежали, и мы отправились наверх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.

Глава XII
Гриша



Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.

— Господи Иисусе Христе! Мати Пресвятая Бого-

родица! Отцу и Сыну и Святому Духу… — вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны.

Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием — потому что он поморщился — поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла.

В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой — черной

тенью; вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.

Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.

Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с бóльшим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» — кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.

Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши.

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.

Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, Господи, научи мя, что творить… научи мя, что творити, Господи!» — с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания… Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.

— Да будет воля Твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и

чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком… И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..

Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых, потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых, потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.

Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька, верно, удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движеньем она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и

шепотом выбежали из чулана.

Глава XIII
Наталья Савишна



В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка *Наташка*. По заслугам и просьбе отца ее, кларне-

тиста Саввы, дед мой взял ее вверх — находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволенья выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезке из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савиш-

ной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда maman вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, maman немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, пе-

ребирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила maman, взяв ее за руку.

— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните… Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Maman удержала ее, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?

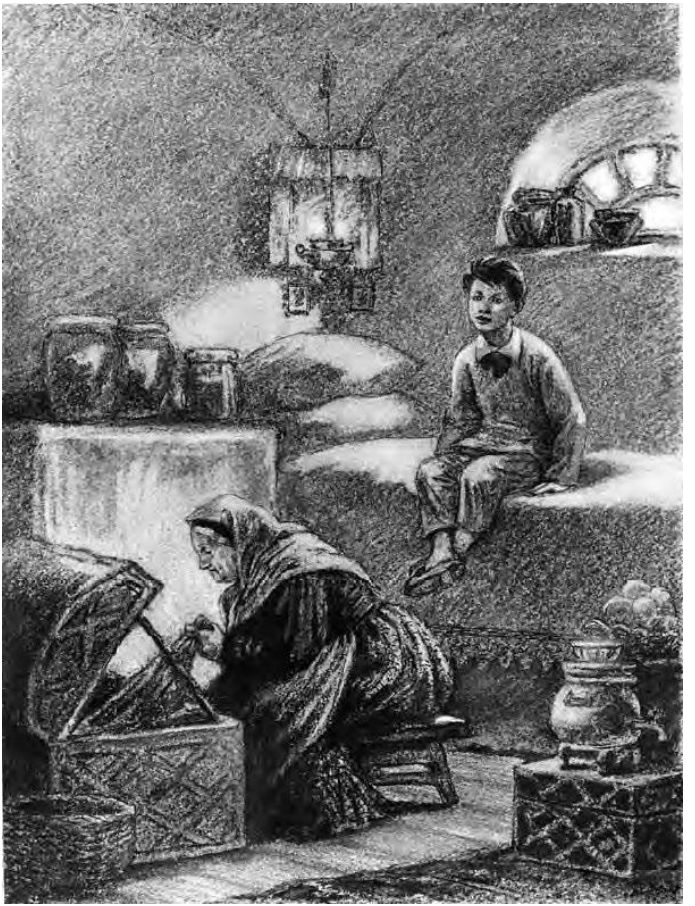
Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала

чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» ит. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка — Царство Небесное — под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны», — и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала».

В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.



Бывало… прибежишь от урока в ее комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух…

Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

— Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, — сказала maman.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом maman сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез. — Наталья Савишна, просто *Наталья*, говорит *мне ты* и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распу-

стил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой *Наталье* за нанесенное мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать:

— Полноте, мой батюшка, не плачьте… простите меня, дуру… я виновата… уж вы меня простите, мой голубчик… вот вам.

Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.

Глава XIV
Разлука



На другой день после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра, коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натуго подпоясан

кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье; когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их.

— Сделайте Божескую милость, Николай Дмитрия, нельзя ли к вам будет баринову щикатулку положить, — сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски, — она маленькая…

— Вы бы прежде говорили, Михей Иваныч, — отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички. — Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щикатулками, — прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота.

Дворовые мужчины, в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины, в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках, и босоногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщиков — сгорбленный старик в зимней шапке и армяке — держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход; другой — видный молодой парень, в одной белой рубахе с красными кумачовыми ластови-

цами, в черной поярковой шляпе черепеником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, — положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем; другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку, — даже, чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали; другие от скуки чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак — одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серолилового цвета; но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением

ожидал окончания всех приготовлений.

Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы: какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске? кто поедет с папа, кто с Карлом Иванычем? и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку?

«Что я за неженка? авось не замерзну. Хоть бы поскорей это все кончилось: сесть бы и ехать».

— Кому прикажете записку о детском белье отдать? — сказала вошедшая, с заплаканными глазами и с запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к maman.

— Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься.

Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидал это движение; но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни

другого: что нужно купить для дома? что сказать княжне Sophie и madame Julie? и хороша ли будет дорога?

Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолоки, сказал: «Лошади готовы». Я заметил, что maman вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно.

Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, «как будто все спрятались от кого-нибудь».

Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула; но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко.

Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял maman и несколько раз поцеловал

ее.

— Полно, мой дружок, — сказал папа, — ведь не навек расстаемся.

— Все-таки грустно! — сказала maman дрожащим от слез голосом.

Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами.

Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что — полагая, что она теперь обратится ко мне, — я совался вперед; но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя. Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Их «пожалуйте ручку-с», звучные поцелуи в плечико и запах сала от их голов возбудили во мне чувство, самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в чепец Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною.

Странно то, что я как теперь вижу все лица

дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями; но лицо и положение maman решительно ускользают из моего воображения: может быть, оттого, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что, если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов.

Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что maman еще здесь.

«Посмотреть ли на нее еще или нет?.. Ну, в последний раз!» — сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время maman с тою же мыслью подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами; она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцеловала меня в последний раз.

Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которою была повязана ее голова; опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал

ее.

Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил; я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться… Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду.

Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами — заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика и ноги начинали прыгать вместе; смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись соха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы, заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет; и еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко

от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили — кому сорвать его, вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами.

Жалко их! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко! Даже злую Мими — и ту жалко. Все, все жалко! А бедная maman? И слезы опять навертывались на глаза; но ненадолго.

Глава XV
Детство



Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с

места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился — и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснешь, Николенька, — говорит мне maman, — ты бы лучше шел наверх.

— Я не хочу спать, мамаша, — ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно

схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

— Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

— Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? — Она молчит с минуту, потом говорит: — Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз — слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым, — и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы

потекут из глаз, и думаешь: «Дай Бог ему счастия, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастия всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы

и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

Глава XVI
Стихи



Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел на верху бабушкиного дома, за большим столом и писал; напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в чалме. Володя, вытянув шею,

стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо.

Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.

— А сюда вы не положите еще тени? — сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка.

— Нет, не нужно, — сказал учитель, укладывая карандаши и рейсфедер в задвижной ящичек, — теперь прекрасно, и вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, — прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка, — откройте наконец нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке? Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа, — сказал он, взял шляпу, билетик и вышел.

В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь так же скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась

и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.

Против моего ожидания, оказалось, что, кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне — напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иваныч любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно его перу.

Г-же Л … Петровской, 1828, 3 июни

Помните близко,
Помните далеко,
Помните моего
Еще отнине и до всегда,
Помните еще до моего гроба,
Как верен я любить имею.

Карл Мауер

Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе,

понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто; я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из двенадцати стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу.

Уже два листа бумаги были испорчены… не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них: стихи мне казались превосходными; но с третьей линейки концы их начинали загибаться кверху все больше и больше, так что даже издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится.

Третий лист был так же крив, как и прежние; но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:

Стараться будем утешать
И любим, как родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.

— И лю-бим, как родну-ю мать, — твердил я себе под нос. — Какую бы рифму вместо мать? играть? кровать?.. Э, сойдет! все лучше карл-ива-

нычевых!

И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них; последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался..

«Зачем я написал: *как родную мать*? ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то... зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было».

В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки.

— Ну, так и быть! — сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.

Московское платье оказалось превосходно: коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку — не так, как в деревне нам шивали, на рост, — черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.

«Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» — мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. Хотя мне

было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову; но, сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.

Карл Иваныч одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и еще какие-то белые принадлежности. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрахмаленную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Иваныча и что ночь не спала для того, чтобы успеть вымыть ее ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.

— Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп пришел. Каким вы молодчиком! — прибавила она с улыбкой, оглядывая мое новое платье.

Замечание это заставило меня покраснеть; я пе-

ревернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик.

Когда я принес манишку Карлу Иванычу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой в то время, как мы стали спускаться по лестнице.

У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи — рисунок, у меня — стихи; у каждого на языке было приветствие, с которым он поднесет свой подарок. В ту минуту, как Карл Иваныч отворил дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна.

Бабушка была уже в зале: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась; подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовлен-

ные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.

Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.

Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещица эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего

турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.

Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.

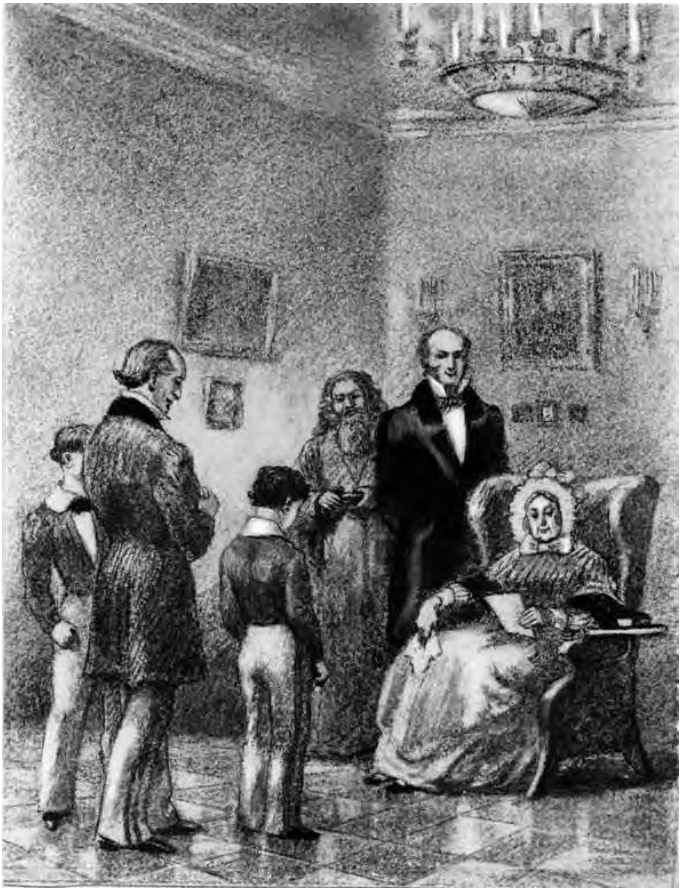
Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.

— Ну, покажи же, Николенька, что у тебя — коробочка или рисованье? — сказал мне папа. Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток; но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли,

что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: *как родную мать,* которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать… вот тебе за это!» — но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Charmant»[27], и поцеловала меня в лоб.

---

[27] Примечания: 27
Прелестно (*фр.*).



Как передать мои страдания в то время, когда

бабушка начала читать вслух мое стихотворение?..

Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом maman на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка.

— Княгиня Варвара Ильинишна, — доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки.

Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала.

— Прикажете просить, ваше сиятельство? — повторил лакей.

Глава XVII
Княгиня Корнакова



— Проси, — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло.

Княгиня была женщина лет сорока пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-

зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно-умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы; брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое.

Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат, хотя бы никто не говорил ни слова: она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом.

Несмотря на то что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее ma bonne tante[28], я заметил, что бабушка была ею недовольна: она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло

---

[28] Примечания: 28
Моя добрая тетушка (*фр.*).

никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание; и, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова:

— Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность; а что князь Михайло не приехал, так что ж про то и говорить… у него всегда дел пропасть; да и то сказать, что ему за удовольствие с старухой сидеть?

И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала:

— Что, как ваши детки, моя милая?

— Да, слава Богу, ma tante[29], растут, учатся, шалят… особенно Этьен — старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет; зато и умен — un garçon, qui promet[30]. Можете себе представить, mon cousin, — продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностию достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать, — можете себе представить, mon cousin, что он сделал на днях…

---

[29] Примечания: 29
Тетушка (*фр.*).

[30] Примечания: 30
Мальчик, подающий надежды (*фр.*).

И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала:

— Каков мальчик, mon cousin? Он стоил, чтобы его высечь; но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, mon cousin.

И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться.

— Разве вы *бьете* своих детей, моя милая? — спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слово *бьете*.

— Ах, ma bonne tante, — кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня, — я знаю, какого вы мнения на этот счет; но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться: сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх… не так ли, mon cousin? А чего, je vous demande un peu[31], дети боятся больше, чем розги?

---

[31] Примечания: 31
Скажите на милость (*фр.*).

При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту.

— Как ни говорите, а мальчик до двенадцати и даже до четырнадцати лет все еще ребенок; вот девочка — другое дело.

«Какое счастье, — подумал я, — что я не ее сын».

— Да, это прекрасно, моя милая, — сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойною слышать такое произведение, — это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?

И, считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор:

— Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение.

Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.

— Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми, — сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.

Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали: что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.

— Поцелуйте же руку княгини, — сказал папа.

— Прошу любить старую тетку, — говорила она, целуя Володю в волосы, — хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства, — прибавила она, относясь преимущественно к бабушке; но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:

— Э! моя милая, разве нынче считается такое родство?

— Этот у меня будет светский молодой человек, — сказал папа, указывая на Володю, — а этот поэт, — прибавил он, в то время как я, целуя маленькую сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой — скамейку, и т. д., и т. д.

— Который? — спросила княгиня, удерживая меня за руку.

— А этот, маленький, с вихрами, — отвечал папа, весело улыбаясь.

«Что ему сделали мои вихры… разве нет другого разговора?» — подумал я и отошел в угол.

Я имел самые странные понятия о красоте — даже Карла Иваныча считал первым красавцем

в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.

Я очень хорошо помню, как раз за обедом — мне было тогда шесть лет — говорили о моей наружности, как maman старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице, говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и, наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен; и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала:

— Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком.

Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком.

Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастия на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо — превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за

красивое лицо.

Глава XVIII
Князь Иван Иваныч



Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее *вы, моя милая* и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала.

Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе, около подъезда, целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей.

— Bonjour, chère cousine[32], — сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки.

---

[32] Примечания: 32
Здравствуйте, дорогая кузина (*фр.*).

Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты.

Князь Иван Иваныч в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастию, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба; поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей,

ни основным правилам религии и нравственности и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило оттого, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своею холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека *очень большого света.* Он был хорошо образован и начитан; но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Боало, Мольера, Монтеня, Фе-

нелона; имел блестящие познания в мифологии и с пользой изучал, во французских переводах, древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра; но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметики, ни о физике, ни о современной литературе: он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил; в Москве или за границей, он всегда живал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому очень важ-

ные и порядочные, люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя.

Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакого воспитания, взгляда на вещи и одних лет; поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение.

Я не мог наглядеться на князя: уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее ma cousine, внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал:

— Почем знать, ma cousine, может быть, это будет другой Державин.

При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку.

Гости разъехались, папа и Володя вышли; в гостиной остались князь, бабушка и я.

— Отчего это наша милая Наталья Николаевна

не приехала? — спросил вдруг князь Иван Иваныч после минутного молчания.

— Ah! mon cher[33], — отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира, — она, верно бы, приехала, если б была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Pierre предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год; и пишет: «Притом, мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала; а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». Все это прекрасно! — продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно, — мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету; а то какое же им могли дать воспитание в деревне?., ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать… Вы заметили, mon cousin, они здесь совершенно как дикие… в комнату войти не умеют.

— Я, однако, не понимаю, — отвечал князь, —

---

[33] Примечания: 33
Ах! мой дорогой (*фр.*).

отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У *него* очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время оно игрывали на театре, я знаю как свои пять пальцев, — чудесное именье! и всегда должно приносить прекрасный доход.

— Я вам скажу, как истинному другу, — прервала его бабушка с грустным выражением, — мне кажется, что все это отговорки, для того только, чтобы *ему* жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам и Бог знает что делать; а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта — она *ему* во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной, с глупой гувернанткой, оставаться в деревне, — она поверила; скажи он ей, что детей нужно сечь, так же как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут, кажется бы, согласилась, — сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения. — Да, мой друг, — продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу, — я часто думаю, что *он* не может ни ценить, ни понимать ее и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе — я очень хорошо знаю это, —

она не может быть с ним счастлива; и помяните мое слово, если он не…

Бабушка закрыла лицо платком.

— Eh, ma bonne amie[34], — сказал князь с упреком, — я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее — вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я *его* давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа и главное — за благороднейшего человека, un parfait honnête homme[35].

Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.

---

[34] Примечания: 34
Э, мой добрый друг (*фр.*).

[35] Примечания: 35
Вполне порядочного человека (*фр.*).

Глава XIX
Ивины



— Володя! Володя! Ивины! — закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером-щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после

приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин — Сережа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими, красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастия; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными

на него мои беспокойные глаза, или просто не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастия, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним знакомства

бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание — не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а

непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще *мальчишка*. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать *большим*.

Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного

своими поступками, закурил сигару.

Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иваныч: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором — по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека; во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проезжающими,

он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не ловишь? что ж ты меня не ловишь? — повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Грап и мы до обеда отправились наверх, Сережа имел случай еще больше пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера.

Иленька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.

Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли наверх, начали *возиться* и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали

попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял курточку — лицо и глаза его разгорелись, — он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке: «Попробуйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

— Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка… непременно надо, чтобы он стал на голову!

И Сережа взял его за руку.

— Непременно, непременно на голову! — закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

— Пустите меня, я сам! курточку разорвете! — кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.

Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.

— Вот теперь молодец, — сказал Сережа, хлопнув его рукою.

Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами,

как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:

— За что вы меня тираните?

Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищеные голенища, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.

Первый опомнился Сережа.

— Вот баба, нюня, — сказал он, слегка трогая его ногою, — с ним шутить нельзя… Ну, полно, вставайте.

— Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, — злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.

— А-а! каблуками бить да еще браниться! — закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.

— Вот тебе! вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не понимает… Пойдемте вниз, — сказал Сережа, неестественно засмеявшись.

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, пла-

кал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.

— Э, Сергей! — сказал я ему, — зачем ты это сделал?

— Вот хорошо!., я не заплакал, надеюсь, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.

«Да, это правда, — подумал я. — Иленька больше ничего как плакса, а вот Сережа — так это молодец… что это за молодец!..»

Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание

казаться молодцом! Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.

Глава XX
Собираются гости



Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале,

и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иваныч свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.

При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу: напротив — давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось — большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы — какой-нибудь *ванька* с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна — большая, в синем салопе с собольим воротником, другая — маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок,

закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка; головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади — к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Иванычу, я не поверил бы, что они вьются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки «Московских ведомостей» и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.

Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки и улыбка которого бывает тем обворожительнее.

Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад

и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Г-жа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.

Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку: подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «Quelle charmante enfant!»[36] Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее.

— Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, — сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок, — прошу же веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера, — прибавила она, обращаясь к г-же Валахиной и дотрагиваясь до меня рукою.

Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз.

---

[36] Примечания: 36
Какой очаровательный ребенок! (*фр.*)

Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо — похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то — должно быть, тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами.

Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.

— Не знаю, — отвечал он мне небрежно, — я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы — гораздо веселей — все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда, — прибавил он с выразительным жестом, — прекрасно!

— Ваше сиятельство, — сказал лакей, — входя в переднюю, — Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?

— Как куда дел? да я ему отдал.

— Он говорит, что не отдавали.

— Ну, так на фонарь повесил.

— Филипп говорит, что и на фонаре нет, а вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство, — продолжал, все более и более воодушевляясь, раздосадованный лакей.

Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону; но присутствующие лакеи

поступили совсем иначе: они подступили ближе, с одобрением посматривая на старого слугу.

— Ну, потерял так потерял, — сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений, — что сто́ит ему кнут, так я и заплачу. Вот уморительно! — прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную.

— Нет, позвольте, барин, чем-то вы заплатите? знаю я, как вы платите: Марье Васильевне вот уж вы восьмой месяц двугривенный все платите, мне тоже уж, кажется, второй год, Петрушке…

— Замолчишь ли ты! — крикнул молодой князь, побледнев от злости. — Вот я все это скажу.

— Все скажу, все скажу! — проговорил лакей. — Нехорошо, ваше сиятельство! — прибавил он особенно выразительно в то время, как мы входили в залу, и пошел с салопами к ларю.

— Вот так, так! — послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней.

Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях. Хотя она употребляла *вы* и *ты* наоборот общепринятому обычаю, в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел

к ней, она сказала ему несколько слов, называя его *вы*, и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что, если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно; но Этьен был, как видно, мальчик не такого *сложения*: он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если не ловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание: я помню, что, когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием; когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную; когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре.

Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями; в числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случая повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома.

Когда приехали Ивины, вместо удовольствия,

которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей.

Глава XXI
До мазурки



— Э! да у вас, видно, будут танцы, — сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток, — надо перчатки

надевать.

«Как же быть? а у нас перчаток-то нет, — подумал я, — надо пойти наверх — поискать».

Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне: во-первых, потому, что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому, что была для меня слишком велика, а главное потому, что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно, Карлом Иванычем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами.

— Вот если бы здесь была Наталья Савишна: у нее, верно бы, нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? и здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватятся. Что мне делать? — говорил я, размахивая руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал вбежавший Володя, — иди ангажируй даму… сейчас начнется.

— Володя, — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию, — Володя, ты и не подумал об этом!

— О чем? — сказал он с нетерпением. — А! о перчатках, — прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку, — и точно нет; надо спросить у бабушки… что она скажет? — и, нимало не задумавшись, побежал вниз.

Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке.

Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантии, я шепотом сказал ей:

— Бабушка! что нам делать? у нас перчаток нет!

— Что, мой друг?

— У нас перчаток нет, — повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел.

— А это что, — сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. — Voyez, ma chère[37], — продол-

---

[37] Примечания: 37
Посмотрите, моя дорогая (*фр.*).

жала она, обращаясь к г-же Валахиной, — voyez comme ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille[38].

Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим.

Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естествен, чтоб быть насмешливым; напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, — в кругу гостиной; я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале.

---

[38] Примечания: 38

Посмотрите, как расфрантился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью (*фр.*).

Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно выражено — какое бы оно ни было, — страдание прекращается.

Что это как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем! Как мило она улыбалась, когда в chaîne подавала мне ручку! как мило, в такт прыгали на головке ее русые кудри, и как наивно делала она jeté-assemblé[39] своими крошечными ножками! В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась: я смело сделал chassé en avant, chassé en arrière, glissade[40] и, в то время как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как, когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о

---

[39] Примечания: 39
Шен, жетэ-ассамбле — фигуры в танце (*фр.*).

[40] Примечания: 40
Шассе-ан-аван, шассе-ан-арьер, глиссад — фигуры в танце (*фр.*).

свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами, и еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило.

Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести ее из такого заблуждения на мой счет. «Vous êtes une habitante de Moscou?[41] — сказал я ей и после утвердительного ответа продолжал: — Et moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale»[42], — рассчитывая в особенности на эффект слова «frequenter»[43]. Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось:

---

[41] Примечания: 41
Вы постоянно живете в Москве? (*фр.*)

[42] Примечания: 42
А я еще никогда не посещал столицы (*фр.*).

[43] Примечания: 43
Посещать (*фр.*).

я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление, и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг; и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу, распространился, даже несколько иронически, о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади — прямо в лужу, и т. п. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал?

Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «mercі» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя: откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить! — думал я, беззаботно разгуливая по зале, — я готов на все!»

Сережа предложил мне быть с ним vis-à-vis.

«Хорошо, — сказал я, — хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее; он был от нее в двух шагах, я же — на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы.

Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека; но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.

Глава XXII
Мазурка



Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать pas de Basques[44], которым нас учила Мими, просто побежал вперед; добежав до

---

[44] Примечания: 44
Па-де-баск — старинное па мазурки (*фр.*).

угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше.

Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.

«Что же он это делает? — рассуждал я сам с собою. — Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими: она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами; а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, а pas de Basques не делают; и Володя наш перенял новую манеру. Недурно!.. А Сонечка-то какая милочка?! вон она пошла…» Мне было чрезвычайно весело.

Мазурка клонилась к концу: несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали; лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты; бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно; музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, — должно быть, желая тем угодить бабушке, — подвела ко мне Сонечку и одну из

бесчисленных княжон. «Rose ou hortie?»[45] — сказала она мне.

— А, ты здесь! — сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка. — Иди же, мой дружок, иди.

Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? — я встал, сказал «rose»[46] и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами.

Я знал, что pas de Basques неуместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня; но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые в свою очередь передали это движение ногам; и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что, если не

---

[45] Примечания: 45
Роза или крапива? (*фр.*)

[46] Примечания: 46
Роза (*фр.*).

приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился, с намерением сделать то самое *коленце*, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо обегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что, вместо того чтобы танцевать, затопал ногами на месте, самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием; одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.

— Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas![47] — сказал сердитый голос папа над моим ухом, и, слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.

«Господи! за что ты наказываешь меня так ужасно!»

---

[47] Примечания: 47
Не нужно было танцевать, если не умеешь! (*фр.*)

.....

Все презирают меня и всегда будут презирать… мне закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям… все пропало! Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? зачем Сонечка… она милочка; но зачем она улыбалась в это время? зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку… И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.

Глава XXIII
После мазурки



За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш, детский, стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог, после случившегося со мной несчастия, чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня: он заигрывал со мной, называл меня молодцом и, как только никто из больших не смотрел

на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.

Вдруг раздались из залы звуки гросфатера, и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась: он ушел к большим, а я, не смея следовать за ним, подошел, с любопытством, прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью.

— Еще полчасика, — убедительно говорила Сонечка.

— Право, нельзя, мой ангел.

— Ну для меня, пожалуйста, — говорила она, ласкаясь.

— Ну разве тебе весело будет, если я завтра буду больна? — сказала г-жа Валахина и имела неосторожность улыбнуться.

— А, позволила! останемся? — заговорила Сонечка, прыгая от радости.

— Что с тобой делать? Иди же, танцуй… вот тебе и кавалер, — сказала она, указывая на меня.

Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу.

Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки: то, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топотал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться: она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость.

Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало: лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше чем когда-нибудь; но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился.

«Если бы я был всегда такой, как теперь, — подумал я, — я бы еще мог понравиться».

Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя, я понял, как глупо *мне* надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания.

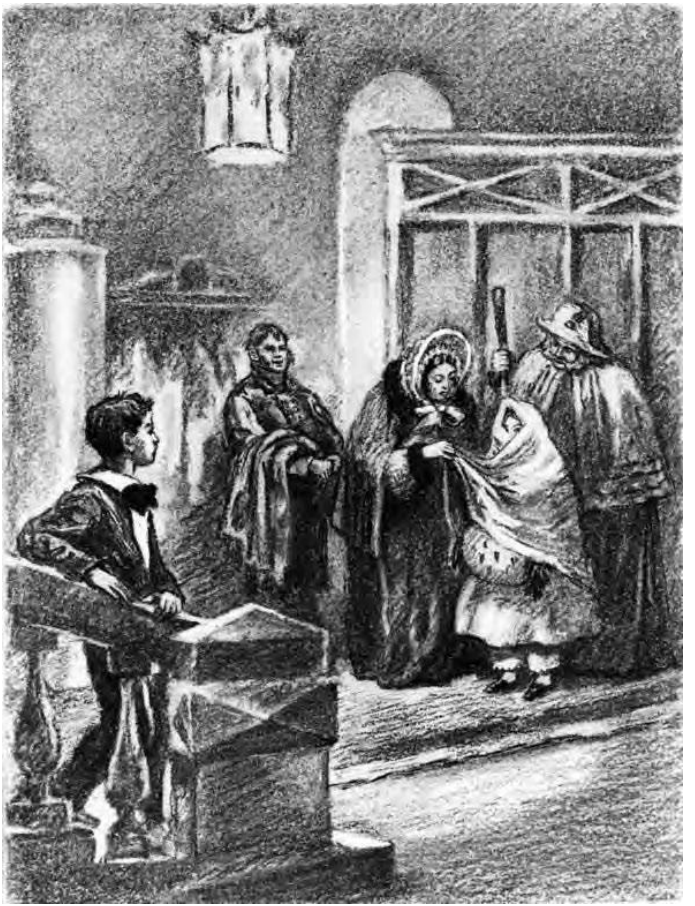
Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастьем. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастия и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать.

Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: «Что бы это было за счастие, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане! и чтобы никто не знал, что мы там живем».

— Не правда ли, что нынче очень весело? —

сказал я тихим, дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать.

— Да… очень! — отвечала она, обратив ко мне головку, с таким откровенно-добрым выражением, что я перестал бояться.



Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами.

— Особенно после ужина… Но если бы вы знали, как мне жалко (я хотел сказать грустно, но не посмел), что вы скоро уедете и мы больше не увидимся.

— Отчего ж не увидимся? — сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам, мимо которых мы проходили, — каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?

— Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу — без шапки. Я дорогу знаю.

— Знаете что? — сказала вдруг Сонечка, — я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю *ты;* давайте и с вами говорить *ты.* Хочешь? — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.

В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть гросфатера.

— Давай…те, — сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.

— Давай *ты*, а не давайте, — поправила Сонеч-

ка и засмеялась.

Гросфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с *ты*, хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. «Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение: я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал еще; видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носика; заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своею матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью.

Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня.

Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня по-

терял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.

Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде.

Глава XXIV
В постели



«Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? — рассуждал я, лежа в постели. — Нет! он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви… а Сонечка? что это за прелесть! «Хочешь?», «тебе начинать».

Я вскочил на четвереньки, живо представляя себе ее личико, закрыл голову одеялом, подвернул его под себя со всех сторон и, когда нигде не осталось отверстий, улегся и, ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания. Устремив неподвижные взоры в подкладку стеганого одеяла, я видел ее так же ясно, как час тому назад; я мысленно разговари-

вал с нею, и разговор этот, хотя и не имел ровно никакого смысла, доставлял мне неописанное наслаждение, потому *что ты, тебе, с тобой, твои* встречались в нем беспрестанно.

Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от сладостного волнения, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастия.

— Милочка! — сказал я почти вслух, круто поворачиваясь на другой бок. — Володя! ты спишь?

— Нет, — ответил он мне сонным голосом, — а что?

— Я влюблен, Володя! решительно влюблен в Сонечку.

— Ну так что ж? — отвечал он мне, потягиваясь.

— Ах, Володя! ты не можешь себе представить, что со мной делается… вот я сейчас лежал, завернувшись под одеялом, и так ясно, так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще знаешь ли что? когда я лежу и думаю о ней, Бог знает отчего делается грустно и ужасно хочется плакать.

Володя пошевелился.

— Только одного я бы желал, — продолжал я, — это — чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть, и больше ничего. А ты влюблен? признайся по

правде, Володя.

Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это.

— Тебе какое дело? — сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом, — может быть.

— Ты не хочешь спать, ты притворялся! — закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он нисколько не думал о сне, и откинул одеяло. — Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть?., такая прелесть, что скажи она мне: «Николаша! выпрыгни в окно или бросься в огонь», ну, вот, клянусь! — сказал я, — сейчас прыгну, и с радостью. Ах какая прелесть! — прибавил я, живо воображая ее перед собою, и, чтобы вполне наслаждаться этим образом, порывисто перевернулся на другой бок и засунул голову под подушки. — Ужасно хочется плакать, Володя.

— Вот дурак! — сказал он, улыбаясь, и потом, помолчав немного: — Я так совсем не так, как ты: я думаю, что, если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать…

— А! так ты тоже влюблен? — перебил я его.

— Потом, — продолжал Володя, нежно улыбаясь, — потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки — всю бы расцеловал…

— Глупости! — закричал я из-под подушек.

— Ты ничего не понимаешь, — презрительно сказал Володя.

— Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и говоришь глупости, — сказал я сквозь слезы.

— Только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка!

Глава XXV
Письмо



Шестнадцатого апреля, почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам наверх, во время классов, и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню. Что-то защемило у меня в сердце при этом известии, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке.

Причиною такого неожиданного отъезда было следующее письмо:

Петровское, 12 апреля.

«Сейчас только, в десять часов вечера, получи-

ла я твое доброе письмо, от 3 апреля, и, по моей всегдашней привычке, отвечаю тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими же, под предлогом, что я была нездорова и расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар, и, признаться тебе по правде, вот уж четвертый день, что я не так-то здорова и не встаю с постели.

Пожалуйста, не пугайся, милый друг: я чувствую себя довольно хорошо и, если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать.

В пятницу на прошлой неделе я поехала с детьми кататься; но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устала и села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтоб вытащить экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а после чаю села

играть с Любочкой в четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такие она сделала успехи!) Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать и главное — видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я занемогла и как сама в том виновата. На другой день у меня был жар довольно сильный и приехал наш добрый, старый Иван Васильич, который до сих пор живет у нас и обещается скоро выпустить меня на свет Божий. Чудесный старик этот Иван Васильич! Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели, теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как им рассказывает немецкие сказки и как они, слушая его, помирают со смеху.

La belle Flamande[48], как ты называешь ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать

---

[48] Примечания: 48
Красавица фламандка (*фр.*).

ее уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если б она была в хороших руках; но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что, если бы у меня не было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее.

Любочка сама хотела писать тебе, но изорвала уже третий лист бумаги и говорит: «Я знаю, какой папа насмешник: если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет». Катенька все так же мила, Мими так же добра и скучна.

Теперь поговорим о серьезном: ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит столько же и тебе?

Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел; но я догадываюсь: верно, ты проиграл очень много, и нисколько, божусь тебе, не огор-

чаюсь этим; поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нем и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не рассчитывать для детей на твой выигрыш, но, извини меня, даже и на все твое состояние. Меня так же мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш; меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей нежной привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь, а Богу известно, как мне это больно! Я не перестаю молить Его об одном, чтобы Он избавил нас… не от бедности (что бедность?), а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновение с нашими. До сих пор Господь исполнял мою молитву: ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или… и подумать страшно, а ужасное несчастие это всегда угрожает нам. Да, это тяжелый крест, который послал нам обоим Господь!

Ты пишешь мне еще о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное

заведение. Ты знаешь мое предубеждение против такого воспитания…

Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною; но, во всяком случае, умоляю тебя, из любви ко мне, дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если Богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет.

Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно! Весна чудо как хороша: балконную дверь уж выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха, персики во всем цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорова и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощай же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше; кончай скорей дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и недостает только тебя, чтобы им осуществиться».

Следующая часть письма была написана по-

французски, связным и неровным почерком, на другом клочке бумаги. Я перевожу его слово в слово:

«Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни; никто не подозревает, до какой степени она серьезна. Я одно знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привози детей. Может быть, я успею еще раз обнять тебя и благословить их: это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наношу тебе; но все равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получил бы его; постараемся же с твердостию и надеждою на милосердие Божие перенести это несчастие. Покоримся воле его.

Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения; напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, что бы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю — и знаю потому, что Богу было угодно открыть мне это, — мне осталось жить очень недолго.

Кончится ли вместе с жизнию моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы

думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам: а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.

Меня не будет с вами; но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти.

Я спокойна, и Богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть как на переход к жизни лучшей; но отчего ж слезы давят меня?.. Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый, неожиданный удар? Зачем *мне* умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливою?

Да будет Его святая воля.

Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастие, которым ты окружил меня в этой жизни; я там буду просить Бога, чтобы Он наградил тебя. Прощай, милый друг; помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде

не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Веньямин — мой Николенька.

Неужели они когда-нибудь забудут меня?!»

В этом письме была вложена французская записочка Мими следующего содержания:

«Печальные предчувствия, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегодняшнего утра и решилась его распечатать. Только что я распечатала, как Наталья Николаевна спросила меня, что я сделала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извините это маранье. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее!»

Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, maman положила его подле себя на столик и започивала.

— Я сама, — говорила Наталья Савишна, — признаюсь, задремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон — часу

этак в первом, — что она как будто разговаривает; я открыла глаза, смотрю: она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот этак ручки, а слезы в три ручья так и текут. «Так все кончено?» — только она и сказала и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать: «Что с вами?»

— Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела.

Сколько я ни спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик, пописала еще что-то, при себе приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже да хуже.

Глава XXVI
Что ожидало нас в деревне



Восемнадцатого апреля мы выходили из дорожной коляски у крыльца петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него: не больна ли maman? — он с грустию посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился; но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося Фоки: «Где Наталья

Николаевна?» — голос его был нетверд и в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал:

— Шестой день уж не изволят выходить из спальни. Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в который занемогла maman, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу — прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более, по всем телодвижениям, было заметно его беспокойство: войдя в диванную, он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная Мими. «Ах! Петр Александрыч! — сказала она шепотом, с выражением истинного отчаяния, и потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: — Здесь нельзя пройти — ход из девичьей».

О как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение!

Мы пошли в девичью; в коридоре попался нам на дороге дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами; но в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушного лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы поклониться нам, с таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешенные платками; у одного из них сидела Наталья Савишна, с очками на носу, и вязала чулок. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делывала, а только привстала, посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны.

Налево от двери стояли ширмы, за ширмами — кровать, столик, шкафчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор; подле кровати стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка, в белом утреннем капоте, и, немного засучив рукава, прикладывала лед к голове maman, которую мне

не было видно в эту минуту.

Девушка эта была la belle Flamande, про которую писала maman и которая впоследствии играла такую важную роль в жизни всего нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы maman и поправила на груди складки своего капота, потом шепотом сказала: «В забытьи».

Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что, не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты.

Глаза maman были открыты, но она ничего не видела… О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страдания!..

Нас увели.



Глаза матап были открыты, но она ничего не видела... О, никогда не забуду я этого страшного взгляда!

Когда я потом спрашивал у Натальи Савишны о последних минутах матушки, вот что она мне сказала:

— Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то; потом спустила головку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут, — прихожу, а уж она, моя сердечная, все вокруг себя раскидала и все манит к себе вашего папеньку; тот нагнется к ней, а уж сил, видно, недостает сказать, что хотелось: только откроет губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! детей!» Я хотела было за вами бежать, да Иван Васильич остановил, говорит: «Это хуже встревожит ее, лучше не надо». После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословляла; да, видно, не привел ее Господь (перед последним концом) взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу: «Матерь

Божия, не оставь их!..» Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка; упала на подушки, ухватилась зубами за простыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут.

— Ну, а потом? — спросил я.

Наталья Савишна не могла больше говорить: она отвернулась и горько заплакала.

Maman скончалась в ужасных страданиях.

Глава XXVII
Горе



На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее; преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

Посредине комнаты, на столе, стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим однообразным голосом читал Псалтырь.

Я остановился у двери и стал смотреть; но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстро-

ены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего выражение всего лица так строго и холодно? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..

Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на

которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была *она.* Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно; знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо приятное и грустное наслаждение.

Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня.

Дверь скрипнула, и в комнату вошел дьячок на смену. Этот шум разбудил меня, и первая мысль,

которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из жалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал.

Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастия, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль.

Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда

бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые, все в слезах, пришли проститься с своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен; заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал мне под мышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдения над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону; опухшие глаза

были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть maman для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел (так она называла maman) перед самою смертью не забыл ее и изъявил желание обеспечить навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести: он то стоял задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоро-

нах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу — что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, — возбуждали во мне какую-то досаду.

Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас *сиротами*. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем! Им, верно, нравилось, что они первые дают нам его, точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать madame.

В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к Богу, она просила его соединить ее с тою, кого она любила больше всего на свете, и твердо надеялась, что это будет скоро.

«Вот кто истинно любил ее!» — подумал я, и мне стало стыдно за самого себя.

Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться.

Одна из последних подошла проститься с по-

койницей какая-то крестьянка с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую, Бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову — на табурете подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты.

Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием.

Глава XXVIII
Последние грустные воспоминания



Maman уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом: мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин — все было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было…

Мне казалось, что после такого несчастия все

должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие.

Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала; услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати.

Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели:

— Что? верно, отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь.

— Что вы, Наталья Савишна? — сказал я, удерживая ее за руку, — я совсем не за этим… я так пришел… да вы и сами устали: лучше ложитесь вы.

— Нет, батюшка, я уж выспалась, — сказала она мне (я знал, что она не спала трое суток). — Да и не до сна теперь, — прибавила она с глубоким

вздохом.

Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастий; я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было для меня отрадой.

— Наталья Савишна, — сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель, — ожидали ли вы этого?

Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть не понимая, для чего я спрашиваю у нее это.

— Кто мог ожидать этого? — повторил я.

— Ах, мой батюшка, — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания, — не то чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой; а то вот до чего довелось дожить: старого барина — вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила, и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно за грехи мои, и ее пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял ее, что она достойна была, а Ему добрых и там нужно.

Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она

сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог ненадолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать:

— Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.

А я, бывало, пошучу — говорю:

— Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастете большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. «Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собой взять; я Нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в Царствии Небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться.

— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в Царствии Небесном? — спросил

я, — ведь она, я думаю, и теперь уже там.

— Нет, батюшка, — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели, — теперь ее душа здесь.

И она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то.

— Прежде чем душа праведника в рай идет — она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней, и может еще в своем доме быть…

Долго еще говорила она в том же роде, и говорила с такою простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.

— Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим, — заключила Наталья Савишна.

И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы; она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом:

— На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого любить?

— А нас разве вы не любите? — сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез.

— Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.

Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.

Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали.

В комнату вошел Фока; заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.

— Зачем ты, Фокаша? — спросила Наталья Савишна, утираясь платком.

— Изюму полтора, сахару четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с.

— Сейчас, сейчас, батюшка, — сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною.

— На что четыре фунта? — говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене, — и три с половиною довольно будет.

И она сняла с весков несколько кусочков.

— А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять спрашивают: ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потачки за барское добро не дам. Ну виданное ли это дело — восемь фунтов?

— Как же быть-с? он говорит, все вышло.

— Ну, на, возьми, на! пусть возьмет!

Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль.

Тщеславие есть чувство самое несообразное

с истинною горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали — не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастием, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке.

Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо бы приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня.

Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы.

Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.

Но скоро нас разлучили: через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее.

Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна.

Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве, доктора боялись за ее жизнь, тем более что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастий, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств.

Один раз я вошел в ее комнату: она сидела, по обыкновению, на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределенен и туп: она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «Поди сюда, мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коли бы

ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала…» Я понял, что она воображала видеть maman, и остановился. «А мне сказали, что тебя нет, — продолжала она, нахмурившись, — вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» — и она захохотала страшным истерическим хохотом.

Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.

Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла; она тихо плакала, говорила про maman и нежно ласкала нас.

В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о maman, как это простодушное и любящее созданье.

Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти.

После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель.

Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и еще тяжелее умирать одной, в большом пустом петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении — экономки,

пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности; поэтому, или, может быть, потому, что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов и что за барское добро она никому потачки не даст.

Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение; но иногда, в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку моську (которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза), говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила: «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру».

За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент; с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с

величайшей отчетливостью, по описи, передала их приказчице; потом достала два шелковые платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости шитье и галуны на мундире были совершенно свежи и сукно не тронуто молью.

Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платий — розовое — было отдано Володе на халат или бешмет, другое — пюсовое, в клетках — мне, для того же употребления; а шаль — Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Брат ее, еще давно отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную; поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений.

Когда брат Натальи Савишны явился для получения наследства и всего имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнациями, он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая шестьдесят

лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.

Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычке, беспрестанно поминала Бога. За час перед смертью она с тихою радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.

У всех домашних она просила прощенья за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василья, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она ценила в себе.

Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе; потом перекрестилась, легла и в

последний раз вздохнула, с радостной улыбкой, произнося имя Божие.

Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение.

Что ж! ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления?

Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха.

Ее похоронили, по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черною решеткою, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существа-

ми, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..

Отрочество



Глава I
Поездка на долгих



Снова поданы два экипажа к крыльцу петровского дома: один — карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и *сам* приказчик Яков, на козлах; другой — бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.

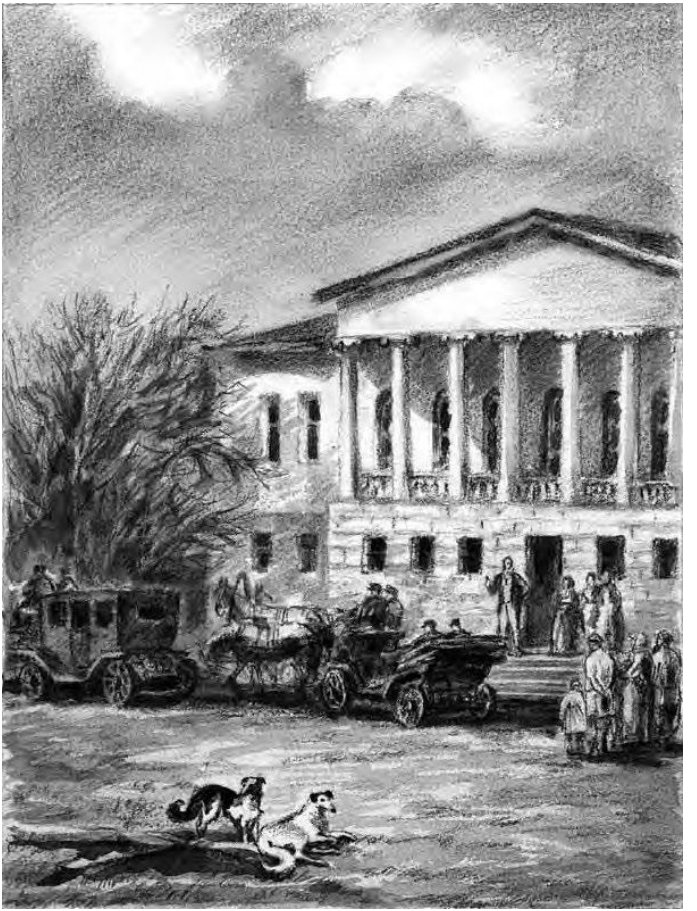
Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.

«Ну, Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с Богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы

большой аллеи одна за другой бегут мимо нас. Мне нисколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней — не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью, — но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь *ее* память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства

— довольства настоящим и светлой надежды на будущее.



Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.

Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и все уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердишься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.

В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевитые от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья-хозяйка отворяет скрипящие ворота,

выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.

За перегородкой, где спала Мими с девочками и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще перебегает мимо нас, наконец отворяется дверь и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то́, то другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и

мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как все это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.

Солнце только что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Все так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно… Дорога широкой дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росою зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги… Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то

сделать — признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-нибудь обстоятельствам забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастие, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным, тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется

навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин, приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень, ямщик, и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастия быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать

стороною. «Что везете?» — спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взором следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» — обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается — и мне приходят мысли, что, верно, эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?..

Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Все мое внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двена-

дцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно, мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.

— Василий, — говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах, — пусти меня на козлы, голубчик. — Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

— Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? — несколько робко спрашиваю я.

— Дьячок?

— А Неручинская ничего не везет, — говорю я.

— Дьячка нельзя налево впрягать, — говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание, — не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на пра-

вую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне *поправить*. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар все усиливается, барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и принимают темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий с удивительной ловкостью на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.

На крутом спуске мы все выходим из экипажей

и иногда вперегонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.

Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней — дымом, дегтем, баранками, послышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широ-

ко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпрру! ворота скрипят, вальки цепляют за воротища, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!

Глава II
Гроза



Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я

не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Все мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоялый двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе

грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к

углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по дощатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей погибели.

Тпру! оторвался валек, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я с захватывающим дыхание замиранием сердца безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия,

обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной глянцевитой культяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

— Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста ради, — звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего…

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда все уже готово и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего

промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя… другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай Хри-ста ради». Наконец медный грош летит мимо нас, и жалкое созданье, в обтянувшем его худые члены, промокшем до нитки рубище, качаясь от ветра, в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила

шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес — все мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги — необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками,

блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны — осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастия стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиялки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда несколько веток черемухи, — посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я

ушел, а то меня непременно раздавят.

— Да ты понюхай, как пахнет! — кричу я.

Глава III
Новый взгляд



Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

— А вот скоро мы и приедем в Москву, — сказал я, — как ты думаешь, какая она?

— Не знаю, — отвечала она нехотя.

— Ну все-таки, как ты думаешь: больше Серпухова или нет?..

— Что?

— Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

— Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

— Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

— И все будем жить?

— Разумеется; мы будем жить наверху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

— Maman говорит, что бабушка такая важная — сердитая?

— Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

— Все-таки я боюсь ее; да, впрочем, Бог знает, будем ли мы…

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

— Что-о? — спросил я с беспокойством.

— Ничего, я так.

— Нет, ты что-то сказала: «Бог знает…»

— Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

— Да вот жалко, что вас не было; гостей было

пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал… Катенька! — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания, — ты не слушаешь?

— Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.

— Отчего ты такая скучная?

— Не всегда же веселой быть.

— Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи по правде, — прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней, — отчего ты стала какая-то странная?

— Будто я странная? — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее, — я совсем не странная.

— Нет, ты уж не такая, как прежде, — продолжал я, — прежде видно было, что ты во всем с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас…

— Совсем нет…

— Нет, дай мне договорить, — перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль, — ты удаляешь-

ся от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.



Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

— Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться, — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять все какою-то фаталистическою необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

— Для чего же это надо?

— Ведь не всегда же мы будем жить вместе, — отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. — Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, Бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты — у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет.

Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкно-

венно странны. Бедными, по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я, — и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас? — сказал я, — как же это мы будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю…

— В актрисы пойдешь… вот глупости! — под-

хватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой…

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним

известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

Глава IV
В Москве



С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидал ее худое, морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глаза-

ми был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, — вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч, которого бабушка называла *дядькой* и который вдруг, Бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти посередине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уже свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипка-

ми. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне и теперь все пойдет иначе.

Глава V
Старший брат



Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя

сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и все это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха — быть понятым — выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому; то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам… Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно-откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

— Кто тебя просил трогать мои вещи? — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика. — А где флакончик? непременно ты…

— Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?

— Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам, — сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

— Пожалуйста, *не командуй*, — отвечал я. — Разбил так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

— Да, тебе ничего, а мне *чего*, — продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа, — разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!

— Я мальчишка; а ты большой, да глупый.

— Не намерен с тобой браниться, — сказал Володя, слегка отталкивая меня, — убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от

стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» — и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

— Отвратительный мальчишка!.. — закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну, теперь все кончено между нами, — думал я, выходя из комнаты, — мы навек поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом, — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

— Прости… ме…ня, Вол…дя! — сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня, однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах…

Глава VI
Маша



Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастие.

С тех пор как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее и про который я расскажу сейчас, — я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения — одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется, мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал

голос Маши: «Ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна придет — разве хорошо будет?»

«Не придет», — шепотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.

«Ну, куда руки суете? Бесстыдник!» — и Маша, с сдернутой набок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.

Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствию поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ему.

Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я

пришел наверх и, так же как Володя, захотел бы поцеловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказанье! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой… отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится…» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.

Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в

гордом одиночестве.

Глава VII
Дробь



— Боже мой, порох!.. — воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. — Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас…

И с неописанным выражением твердости духа Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую произой-

ти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда, по ее мнению, опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот *порох* куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать», — проворчала она.

Когда папа пришел из флигеля и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно-официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь и что бабушке уже все известно.

Кроме Мими в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, раскрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький рябоватый человечек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные миротворные знаки.

Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс *Путешественник,* что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.

— Как себя чувствуете нынче, maman? хорошо ли почивали? — сказал папа, почтительно целуя ее руку.

— Прекрасно, мой милый; кажется, знаете, что я всегда совершенно здорова, — отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. — Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? — продолжала она, обращаясь к Гаше.

— Я вам подала, — отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

— Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

— Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

— Время будет, так натру.

— Что вы говорите?

— Натру нынче.

— Ежели вы не хотите мне служить, моя милая,

вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

— И отпустите, не заплачут, — проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.

— Видите, мой милый, — сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты, — как со мной говорят в моем доме?

— Позвольте, maman, я сам натру вам табак, — сказал папа, приведенный, по-видимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.

— Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю. Вы знаете, мой милый, — продолжала бабушка после минутного молчания, — что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

— Да, они вот чем играют. Покажите им, — сказала она, обращаясь к Мими.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуть-

ся.

— Да это дробь, maman, — сказал он, — это совсем не опасно.

— Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком…

— Нервы, нервы! — прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

— Где вы это взяли? и как смеете шалить такими вещами?

— Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку,* — сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово «дядька», — что он смотрит?

— Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот *порох*, — подхватила Мими.

— Ну вот видите, какой он хороший, — продолжала бабушка, — и где он, этот *дядька,* как бишь его? пошлите его сюда.

— Я его отпустил в гости, — сказал папа.

— Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня, — продолжала бабушка, — но, кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским

песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, *теперь* некому об этом подумать, и вы можете делать как хотите.

Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки, — она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.

— Я давно уже думал об этом, — поспешил сказать папа, — и хотел посоветоваться с вами, maman: не пригласить ли нам St.-Jérôme'a, который теперь по билетам дает им уроки?

— И прекрасно сделаешь, мой друг, — сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде. — St.-Jérôme, по крайней мере, gouverneur, который поймет, как нужно вести des enfants de bonne maison[49], а не простой menin, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять.

— Я завтра же поговорю с ним, — сказал папа.

И действительно, через два дня после этого разговора Карл Иваныч уступил свое место молодому щеголю французу.

---

[49] Примечания: 49
Детей из хорошей семьи (*фр.*).

Глава VIII
История Карла Иваныча



Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь,

когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

— Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч, — сказал я, подходя к нему.

Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

— Бог все видит и все знает, и на все Его святая воля, — сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. — Да, Николенька, — продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него, — моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда, — сказал он, указывая на небо. — Когда б вы знали мою историю и все, что я перенес в

этой жизни!.. Я был сапожник, я был солдат, я был *дезертир,* я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову, — заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло.

Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.

— Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!..

Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:

– *Я был нешаслив ишо во чрева моей матрри.* Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter! — повторил он еще с большим чувством.

Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно неизменяемыми интонациями, рас-

сказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово: разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни — не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.

«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fliesst das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после сватьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meiner eigenen

Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда, в мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! — сказала она, — никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька, — говорила она мне, — учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden — sagte sie — und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадим его в город к господину Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал: «Хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник,

и скоро он будет моим Geselle!»[50], но… человек предполагает, а Бог располагает… в 1796 году была назначена Konskription[51], и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года, должны были собраться в город.

Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Los[52], кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащил дурной нумеро — он должен быть Soldat, я вытащил хороший нумеро — я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!»

Я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару Bierkrug»[53], — я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат

---

[50] Примечания: 50
Подмастерьем (*нем.*).

[51] Примечания: 51
Рекрутский набор (*нем.*).

[52] Примечания: 52
Жребий (*нем.*).

[53] Примечания: 53
Кружек пива (*нем.*).

Johann тоже выпил.

— Папенька! — я сказал, — не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я *этого* слышу. Брат Johann не будет служить — я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

— Вы честный человек, Карл Иваныч! — сказал мне папенька и поцеловал меня. — Du bist ein braver Bursche! — sagte mir mein Vater und Küsste mich.

И я был Soldat!»

Глава IX
Продолжение предыдущей



«Тогда было страшное время, Николенька, — продолжал Карл Иваныч, — тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под

Ваграм! ich war bei Wagram!»

— Неужели вы тоже воевали? — спросил я, с удивлением глядя на него. — Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет.

«Один раз французский Grenadier отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon[54], и я пустил его!

Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!

На четвертые сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы — подарок моего папеньки. Французский Soldat все взял у меня. На мое счастье, у меня было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел!

---

[54] Примечания: 54

Но француз бросил свое ружье и запросил пощады (*нем.*).

В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, две бутылочки мадер, и мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «Хорошо». Когда сержант принес мадер и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?..» Он сказал: «Есть, господин Мауер…» — «Мой отец и мать, — я сказал, — восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О господин сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога».

Сержант выпил рюмочку мадеры и сказал: «Господин Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!» Я пожал его за руку и сказал: «Господин сержант! Ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Sergeant!»

И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас».

Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота.

Часовой ходил с ружьем auf und ab[55] и смотрел на меня. «Qui vive?» — sagte er auf einmal[56], и я молчал.

«Qui vive?» — sagte er zum zweiten Mal[57], и я молчал. «Qui vive?» — sagte er zum dritten Mal[58], *и я бегал. Я пригнул в вода, влезал на другой сторона и пустил.* Ich sprang in's Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube.

Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и с покойным чувством заснул. Ich dankte

---

[55] Примечания: 55
Взад и вперед (*нем.*).

[56] Примечания: 56
«Кто идет?» (*фр.*) — сказал он вдруг (*нем.*).

[57] Примечания: 57
«Кто идет?» (*фр.*) — сказал он второй раз (*нем.*).

[58] Примечания: 58
«Кто идет?» (*фр.*) — сказал он в третий раз (*нем.*).

dem allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.

Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в две вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня; я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге; человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек, — он сказал, — куда вы идете так поздно?» Я сказал: «Я иду в Франкфурт». — «Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас… Отчего у вас ничего нет с собой, борода ваша не брита и платье ваше в грязи?» — сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек, — я сказал, — хочу наняться где-нибудь на *фабрик*; а платье мое в грязи оттого, что я упал на дороге». — «Вы говорите неправду, молодой человек, — сказал он, — по дороге теперь сухо».

И я молчал.

— Скажите мне всю правду, — сказал мне добрый человек, — кто вы и откуда идете? лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам.

И я все сказал ему. Он сказал: «Хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрик. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».

И я сказал: «Хорошо».

Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: «Вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена; у него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его».

Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос… и madame L… (я не могу сказать ее имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.

Когда она *видела* меня, она *сказала*: «Господин Мауер, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Karlchen».

И она сказала: «Karlchen! сядьте подле меня».

Я сел подле ней, и она сказала: «Karlchen! поцелуйте меня».

Я *его* поцеловал, и он сказал: «Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть», — и он

весь задрожал».

Тут Карл Иваныч сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний.

«Да, — начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат, — много я испытал и хорошего и дурного в своей жизни; но вот мой свидетель, — сказал он, указывая на шитый по канве образок Спасителя, висевший над его кроватью, — никто не может сказать, чтоб Карл Иваныч был нечестный человек! Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал господин L..., и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».

Глава X
Продолжение



«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат? И мне сказали: «Граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в большой улице и держит лавку *ликер*». Я надел свой новый жилет, хороший сюртук — подарок фабриканта, хоро-

шенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: «Можно выпить рюмочку ликер?» — и она сказала: «Vater! Молодой человек просит рюмочку ликер». И папенька сказал: «Подай молодому человеку рюмочку ликер». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Mariechen и Johann, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне: «Вы, верно, знаете, молодой человек, где стоит теперь наше *арме*». Я сказал: «Я сам иду из *арме*, и она стоит подле Wien». — «Наш сын, — сказал папенька, — был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем...» Я курил свою трубочку и сказал: «Как звали вашего сына и где он служил? может быть, я знаю его...» — «Его звали Карл Мауер, и он служил в австрийских егерях», — сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», — сказала сестра Mariechen. Я сказал: «Я знаю вашего Karl». — «Amalia! — sagte auf einmal mein Vater[59], — подите сюда, здесь есть молодой

[59] Примечания: 59
Амалия! — сказал вдруг мой отец (*нем.*).

человек, он знает нашего Karl». *И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его*. «*Вы знаете наша Karl*», — *он сказал, посмотрил на мене и, весь бледны, за…дро…жал!..»*Да, я видел его», — я сказал и не смел поднять глаза на нее; сердце у меня *пригнуть* хотело. «Karl мой жив! — сказала маменька. — Слава Богу! Где он, мой милый Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына; но Бог не хочет этого», — и *он* заплакал… *Я не мог терпейть*… «Маменька! — я сказал, — я ваш Карл!» *И он упал мне на рука*…»

Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали.

«Mutter! — sagte ich, — ich bin Ihr Sohn, ich bin Ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme»[60], — повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам.

«Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастие! das Unglück verfolgte mich überall!..[61] Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресе-

---

[60] Примечания: 60

«Маменька! — сказал я, — я ваш сын, ваш Карл! — и она бросилась в мои объятия (*нем.*).

[61] Примечания: 61

Несчастья повсюду меня преследовали!.. (*нем.*)

нье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Überrock[62], пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter[63] прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «Кто там?» — «Macht auf!»[64] Я сказал: «Скажите, кто там, и я отворю». Ich sagte: «Sagt wer ihr seid, und ich werde aufmachen». — «Macht auf im Namen des Gesetzes!»[65] — сказал за дверью. И я отворил. Два Soldat с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером Überrock, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Es war ein Spion!..»Пойдемте со мной!» —

---

[62] Примечания: 62
Сюртуке (*нем.*).

[63] Примечания: 63
Ночной сторож (*нем.*).

[64] Примечания: 64
Отворите! (*нем.*)

[65] Примечания: 65
Отворите именем закона! (*нем.*)

сказал шпион. «Хорошо», — я сказал… Я надел сапоги und Pantalon[66], надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело; я сказал: «Он подлец!» Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: «*Ты шпион; зашишайся*| Du bist ein Spion, vertheidige dich!» Ich gab ein Hieb[67] направо, ein Hieb налево и *один на галава.* Шпион упал! Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems[68]; там я познакомился с *енерал Сазин.* Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда *енерал Сазин* умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иваныч! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь, на старости лет, идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба… *Бог сей видит и сей знает, и на сей Его святое воля, тольк вас*

---

[66] Примечания: 66
И панталоны (*нем.*).

[67] Примечания: 67
Я нанес один удар (*нем.*).

[68] Примечания: 68
Я пришел в Эмс (*нем.*).

жалько мне, детьи!» — заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.

Глава XI
Единица



По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей — наших сверстников и сверстниц.

В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Грап

и два меньших брата Ивиных.

Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось все это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: Lundi, de 2 à 3, Maître d'Histoire et de Géographie[69]; и вот этого-то Maître d'Histoire мы должны были дождаться, выслушать и проводить, прежде чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его.

— Кажется, Лебедев нынче не придет, — сказал Володя, отрываясь на минутку от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.

— Дай Бог, дай Бог… а то я ровно ничего не знаю… однако, кажется, вон он идет, — прибавил я печальным голосом.

Володя встал и подошел к окну.

— Нет, это не он, это какой-то *барин*, — сказал он. — Подождем еще до половины третьего, — прибавил он, потягиваясь и в то же время поче-

---

[69] Примечания: 69
Понедельник, от 2 до 3, учитель истории и географии (*фр.*)

сывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий. — Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать St.-Jérôme'у, чтобы убрать тетради.

— И охота ему хо-о-о-о-дить, — сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.

От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком бы то ни было предмете.

За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня St.-Jérôme'у? и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. St.-Jérôme тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.

Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передней стук

снимания калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами.

Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и, отдуваясь, сел на свое место.

— Ну-с, господа, — сказал он, потирая одну о другую свои потные руки, — пройдемте-с сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков.

Это значило: сказывайте уроки.

В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственною тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было идти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только что я хотел поместиться на обыкновенном посте своих наблюдений — за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причиною моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» — сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей и

потом опять на меня.

Я чувствовал себя кругом виноватым — и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния.

— Нет, это уж ни на что не похоже! — сказала Мими. — Что вы здесь делали? — Я помолчал. — Нет, это так не останется, — повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы, — я все расскажу графине.

Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что все кончено и про меня забудут.

Но вдруг учитель с злодейской полуулыбкой обратился ко мне.

— Надеюсь, вы выучили свой урок-с, — сказал он, потирая руки.

— Выучил-с, — отвечал я.

— Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого, — сказал он,

покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. — Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест, — сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу, — потом объясните мне общие характеристические черты этого похода, — прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь, — и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще, — сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола, — и на французское королевство в особенности, — заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову набок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и все молчал.

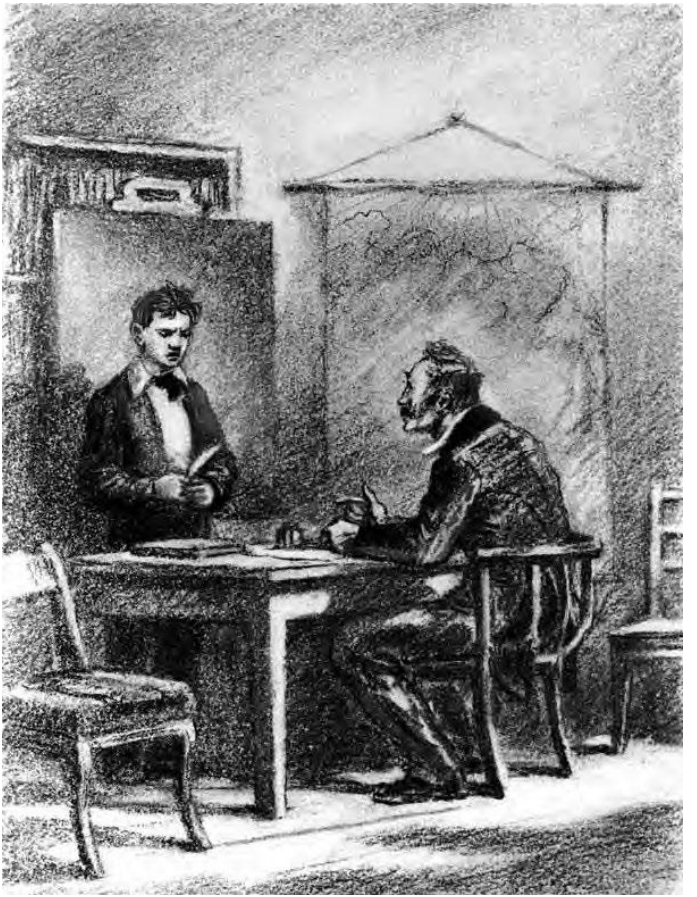
— Позвольте перышко, — сказал мне учитель, протягивая руку. — Оно пригодится. Ну-с.

— Людо… кар… Лудовик Святой был… был… был… добрый и умный царь…

— Кто-с?

— Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и *передал бразды правления* своей матери.

— Как ее звали-с?



Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал

обрывать его и все молчал.

— Б…б…ланка.

— Как-с? буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? — сказал он с усмешкой.

Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать все, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «Хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.

— Зачем же он вздумал идти в Иерусалим? — сказал он, повторяя мои слова.

— Затем… потому… оттого, затем что…

Я решительно замялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что, ежели этот злодей учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я все-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в

это время вошел в комнату:

— Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.

Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее.

Учитель развернул тетрадь и, бережно обмакнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался.

Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение — ив графе поведения другая единица и точка.

Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.

— Михаил Ларионыч! — сказал я.

— Нет, — отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему, — так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.

Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движение пера,

а для меня величайшее несчастие.

— Класс кончен? — спросил St.-Jérôme, входя в комнату.

— Да.

— Учитель доволен вами?

— Да, — сказал Володя.

— Сколько вы получили?

— Пять.

— A Nicolas?

Я молчал.

— Кажется, четыре, — сказал Володя.

Он понимал, что меня нужно было спасти хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.

— Voyons, messieurs (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: voyons)! faites votre toilette et descendons[70].

---

[70] Примечания: 70

Ну же, господа! займитесь вашим туалетом и идемте вниз (*фр.*).

Глава XII
Ключик



Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бонбоньерка, приготовленная для именинницы.

— Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко, — сказал он мне. — Ключи лежат на боль-

шом столе в раковине, знаешь?.. Так возьми их и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принесешь всё сюда.

— А сигары принести тебе? — спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.

— Принеси, да смотри у меня — ничего не трогать! — сказал он мне вслед.

Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.

На столе, между тысячью разнообразных вещей, стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле…

.....

Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно

во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства.

Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.

Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне, видно, суждено было испытать всевозможные несчастия в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ, и — о ужас! — у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.

Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка — за жалобу Мими, St.-Jérôme, — за единицу, папа — за ключик… и все это обрушится на меня не позже как нынче вечером.

— Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! — говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. — Э! — сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары, — чему быть, тому не миновать… — И побежал в дом.

Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.

Глава XIII
Изменница



После обеда начались petits jeux[71], и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку-мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами,

---

[71] Примечания: 71
Игры (*фр.*).

я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решился доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но St.-Jérôme, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмурив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться.

Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него.

После «кошки-мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, *Lange Nase*[72]. Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу, и нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, *остающийся*, что про меня всякий раз должны были говорить: «*Кто еще остается*?» — «*Да Николенька; ну вот ты его и возьми*». Поэтому когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжон и, к несчастию, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно *изменницею*,

---

[72] Примечания: 72
Длинный нос (*нем.*).

так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.

После игры я заметил, что *изменница*, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепьян, чтобы открыть их секреты, я увидал следующее: Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им головы Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь!» — говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним, точно виноватая, и, краснея, говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, mademoiselle Catherine?» — «Я люблю правду, — отвечала Катенька, — проиграла пари, ma chère».

Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнулся и поцеловал Сонечку. Так прямо и поцеловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно!!! О, *коварная изменница*!

Глава XIV
Затмение



Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности; начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только *девчонкам*, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил

представиться.

St.-Jérôme, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты; звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme'а другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от двенадцати до четырнадцати лет, то есть находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, — но так — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли,

а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли — рассеянности почти — крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что, если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что, ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «А ну-ка, любезный, пойдем»?

Под влиянием такого же внутреннего волне-

ния и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел наверх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.

В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости.

— C'est bien[73], — сказал он, догоняя меня, — я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.

Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

---

[73] Примечания: 73
Хорошо (*фр.*).

— Что с тобой делается? — сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

— Оставь меня! — закричал я на него сквозь слезы. — Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошел ко мне, и не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette[74], которой душился St.-Jérôme. Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.

— Василь! — сказал он отвратительным, торжествующим голосом, — принеси розог.....

---

[74] Примечания: 74
Фиалки (*фр.*).

Глава XV
Мечты



Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?..

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно

предчувствовал, что пропал безвозвратно.

Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или, по крайней мере, мне так казалось от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-помалу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть, он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех, беготня, а через несколько минут в доме все пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане.

Я не плакал, но что-то тяжелое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении; но воспоминание о несчастий, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.

То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа-кучера, ненавидят меня

и находят наслаждение в моих страданиях.) «Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости», — говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча.

«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? — говорю я сам себе, — завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее». Он скажет: «Что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это, — ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя»; и я скажу ему: «Папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня, а St.-Jérôme поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой

дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на все. Я убью его», — так и сказать: «Папа, я убью его». Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему: «Нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня», — и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: «Oh mon père, oh mon bienfaiteur, donne moi pour la dernière fois la bénédiction et que la volonté de dieu soit faite!»[75] И я, сидя на сундуке в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказание, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах — убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и,

[75] Примечания: 75

О мой отец, о мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословение, и да совершится Воля Божия! (*фр.*)

с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот *государь* встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великий государь, что мог пролить кровь за свое отечество, и желал бы умереть за него; но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном — позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme' а. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme'а». Я грозно останавливаюсь перед St.-Jérôme'оМ и говорю ему: «Ты сделал мое несчастие, à genoux!»[76] Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий St.-Jérôme, с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием.

То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю его, за что он наказывает меня? «Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером, так за

---

[76] Примечания: 76
На колени! (*фр.*)

что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, чтобы несчастие побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик», — скажет папа со слезами на глазах. «Да, — скажет St.-Jérôme, — но большой повеса». — «Вы бы должны уважать мертвых, — скажет папа, — вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему… Вон отсюда, злодей!»

И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. «Ежели это точно ты, — говорю я, — то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя». И мне отвечает ее голос: «Здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» — «Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук...» — «Не надо этого, здесь и так прекрасно», — говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы все летим выше и выше.* Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как

скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.

Глава XVI
Перемелется, мука будет



Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, то есть в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на

морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение все-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.

В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал и что ожидает меня, он сказал:

— Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.

Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня

наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым официальным лицом вошел в комнату.

— Пойдемте к бабушке, — сказал он, не глядя на меня.

Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться.

Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки, с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.

— Да, мой милый, — сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы

таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки, — могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Monsieur St.-Jérôme, который по моей просьбе, — прибавила она, растягивая каждое слово, — взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? от вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны, — продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно, — за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства… Проси сейчас прощения, — прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme'a, — слышишь?

Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jerome'a, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.

— Что же? вы не слышите разве, что я вам говорю?

Я дрожал всем телом, но не трогался с места.

— Коко! — сказала бабушка, должно быть, заметив внутренние страдания, которые я испытывал. — Коко, — сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом, — ты ли это?

— Бабушка! я не буду просить у него прощения ни за что… — сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово.

— Я приказываю тебе, я прошу тебя. Что же ты?

— Я… я… не… хочу… я не могу, — проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком.

— C'est ainsi que vous obéissez à votre second mère, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés[77], — сказал St.-Jérôme трагическим голосом, — à genoux![78]

— Боже мой, ежели бы она видела это! — сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. — Ежели бы она видела…

---

[77] Примечания: 77

Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту (*фр.*).

[78] Примечания: 78

На колени! (*фр.*)

все к лучшему. Да, она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы.

И бабушка плакала все сильней и сильней. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения.

— Tranquillisez vous au nom du ciel, madame la comtesse[79], — говорил St.-Jérôme.

Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептанье.

— Любуйтесь на ваше дело, — сказал St.-Jérôme, уводя меня наверх.

«Боже мой, что я наделал! Какой я ужасный преступник!»

Только что St.-Jérôme, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз, — я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу.

Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видать никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице.

---

[79] Примечания: 79
Ради Бога, успокойтесь, графиня (*фр.*).

— Ты куда? — спросил меня вдруг знакомый голос. — Тебя-то мне и нужно, голубчик.

Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал:

— Пойдем-ка со мной, любезный! Как ты смел трогать портфель в моем кабинете, — сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную. — А? что ж ты молчишь? а? — прибавил он, взяв меня за ухо.

— Виноват, — сказал я, — я сам не знаю, что на меня нашло.

— А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь, — повторял он, с каждым словом потрясая мое ухо, — будешь впередсовать нос, куда не следует, будешь? будешь?

Несмотря на то что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями.

— Бей меня еще, — говорил я сквозь слезы, — крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!

— Что с тобой? — сказал он, слегка отталкивая меня.

— Нет, ни за что не пойду, — сказал я, цепляясь

за его сюртук. — Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради Бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, *он* всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. *Он* сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я… с… ним… ради Бога, высеки… за… что… му…чат.

Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колени, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.

— Об чем ты, пузырь? — сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.

– *Он* мой тиран… мучитель… умру… никто меня не любит! — едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.

Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул.

Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас

бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.

Глава XVII
Ненависть



Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас

к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter[80] (как-то fouatter) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое

---

[80] Примечания: 80
Сечь (*фр.*).

состояние подавленного отчаяния и злобы.

Случалось, что Карл Иваныч, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Иванычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme, был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все *большие*. Карл Иваныч был смешной старик, *дядька*, которого я любил от души, но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иваныч бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей

пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, accent circonflex'ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иваныч, рассердившись, говорил: «кукольная комедия, шалунья малыник, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас mauvais sujet, vilain garnement[81] и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «A genoux, mauvais sujet!», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Вся-

[81] Примечания: 81
Негодяй, мерзавец (*фр.*).

кий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.

Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.

Глава XVIII
Девичья



Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе; театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, само собой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василья, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая

(родного дяди Маши), не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Васильем, которого он называл человеком *несообразным и необузданным*.

Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами.

Несмотря на то что проявления его любви были весьма странны и несообразны (например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание), но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий *запил* с горя, стал шляться по кабакам, буянить — одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугою в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий *содержался в части,* Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на

свою горькую судьбу Гаше (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.

Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей. Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник; вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная коробочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит *она* в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. *Она* шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «Отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой

и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее, и что бы ни захотела, я все бы для нее делал; подавал бы ей салоп, кушанье, сам бы подавал…»

И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василия в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки навыпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его…

— Что, Вася? опять, — сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василию.

— А что ж? разве от *него* добро будет, — отвечал Василий, — хоть бы решил одним чем-нибудь; а то пропадаю так ни за что, и все через него.

— Чай будете пить? — сказала Надежа, другая горничная.

— Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит, вор этот, дядя-то твой, за что? за то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово. Эхма! — заключил Василий,

махнув рукой.

— Надо покорным быть, — сказала Маша, скусывая нитку, — а вы так все…

— Мочи моей не стало, вот что!

В это время в комнате бабушки послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшейся по лестнице.

— Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет… проклятая жисть, каторжная! Хоть бы одно что, прости, Господи, мое согрешение, — бормотала она, размахивая руками.

— Мое почтение Агафье Михайловне, — сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу.

— Ну вас тут! Не до твоего почтения, — отвечала она грозно, глядя на него, — и зачем ходишь сюда? разве место к девкам мужчине ходить…



…Вот и большой красный стол… за которым сидит она *в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание.*

— Хотел об вашем здоровье узнать, — робко сказал Василий.

— Издохну скоро, вот какое мое здоровье, — еще с бóльшим гневом, во весь рот прокричала Агафья Михайловна.

Василий засмеялся.

— Тут смеяться нечего, а коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!

И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах.

За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бранить все и всех и проклиная свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку; наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост, жалобно мяукавшая кошка.

— Видно, в другой раз прийти чайку напиться, — сказал Василий шепотом. — До приятного свидания.

— Ничего, — сказала, подмигивая, Надежа, — я

вот пойду самовар посмотрю.

— Да и сделаю ж я один конец, — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежа вышла из комнаты, — либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж… брошу все, убегу на край света, ей-богу.

— А я как останусь…

— Одну тебя жалею, а то бы уж даа…вно моя головушка на воле была, ей-богу, ей-богу.

— Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать, — сказала Маша после минутного молчания, — а то вишь какая черная, — прибавила она, взяв его за ворот рубашки.

В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.

— Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься? — сказала она, толкая в дверь Василья, который торопливо встал, увидав ее. — Довел девку до евтого, да еще пристаешь, видно, весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел. Чтобы духу твоего но было. И чего хорошего в нем нашла? — продолжала она, обращаясь к Маше. — Мало тебя колотил нынче дядя за него? Нет, все свое: ни за кого не пойду, как за Василия Грускова. Дура!

— Да и не пойду ни за кого, не люблю никого,

хоть убей меня до смерти за него, — проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.

Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василия, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то что я искренно сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василия.

«Когда я буду большой, — рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе наверх, — Петровское достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку, Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: «Позовите ко мне Машу». Она придет, и никого не будет в комнате… Вдруг войдет Василий и, когда увидит Машу, скажет: «Пропала моя головушка!» — и Маша тоже заплачет; а я скажу: «Василий! я знаю, что ты любишь ее и она тебя любит, на́ вот тебе тысячу рублей, женись на ней и дай Бог тебе счастья», — а сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в

них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.

Глава XIX
Отрочество



Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности ста-

рался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожида-

ет меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз! что такое симметрия! Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным и которого связь я с трудом могу уловить теперь, — понравилось мне чрезвычай-

но, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его, но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не

предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрагивать.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о

чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? — я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что и думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил…

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.

Глава XX
Володя



Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова

истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.

Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.

Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т. п., которые кажутся мне выражениями недосягаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учители, два профессора и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессора, видимо, стараются перед бабушкой скрыть мое

незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно, остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.

Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подают фаэтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme'oM едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи, папа говорит: «Дай Бог, дай Бог», — а бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.

Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «Что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его и встречают с теми же нетерпением и радостию. Так проходит

девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен — закона Божьего, все стоят у окна и еще с бóльшим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.

— Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! — кричит Любочка, прильнув к стеклу.

И действительно, в фаэтоне рядом с St.-Jérôme'oM сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.

— Что, ежели бы ты была жива! — вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с прилично-величавой и вместе веселой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку

шампанского. Бабушка в первый раз после кончины maman пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает *к себе своих* знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется le fond de la bouteille[82]. Он обедает, однако, регулярно дома и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах, — они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.

Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные

---

[82] Примечания: 82
Последний глоток (*фр.*).

отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.

Глава XXI
Катенька и Любочка



Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же

светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щечках, те же беленькие ручки… и к ней по-прежнему почему-то чрезвычайно идет название *чистенькой* девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит, как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.

Несмотря на то что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.

Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза; и глаза эти действительно прекрасны — большие, черные, и с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает

ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних, и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать ее, она дуется и говорит, что терпеть не может *нежностей*; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегает по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит опустив руки; Катенька держит голову несколько набок и ходит сложив руки. Любочка всегда ужасно рада, когда ей удается поговорить с большим мужчиной, и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно

мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и, прежде чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда, *arpeggio*…

Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.

Глава XXII
Папа



Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими

мягкими сапогами (он терпеть не может каблуков и никогда не носит их), поет цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я сказываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну, досталось же *нам*, дети», — говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих глазах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.

Один раз, поздно вечером, он, в черном фраке и белом жилете, вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне

дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу maman.

Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово *целый век*, которое имела тоже привычку говорить maman, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее, както протяжно: це-е-лый век; но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепьяно и во всех приемах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж, и говорила: «ах, Бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной jeu

perlé[83], прелести которой не могли заставить забыть все фокус-покусы новейших пьянистов.

Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его.

— Нет, играй, Люба, играй, — сказал он, усаживая ее, — ты знаешь, как я люблю тебя слушать…

Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против нее; потом, быстро подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцеловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись, опять продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «Хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал целовать в лоб и глаза с такою нежностию, какой я никогда не видывал от него.

— Ах, Бог мой! ты плачешь! — вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные

---

[83] Примечания: 83
Блистательной игрой (*фр.*).

глаза. — Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса*.

— Нет, друг мой, играй почаще, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой…

Он еще раз поцеловал ее и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи.

— Вольдемар! скоро ли ты? — крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее.

— А ты все хорошеешь, — сказал он, наклоняясь к ней.

Маша покраснела и еще более опустила голову.

— Позвольте, — прошептала она.

— Вольдемар, что ж, скоро ли? — повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо и он увидал меня…

Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то что я

стараюсь удалить их, приходят мне…

Глава XXIII
Бабушка



Бабушка со дня на день становится слабее; ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль, а в комнате тяжелый запах,

который пять лет тому назад слышал в комнате матушки. Доктор три раза в день бывает у нее, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение ее со всеми домашними, а в особенности с папа, нисколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «Мой милый».

Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Несмотря на то что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломой и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во все время катанья, мы с Любочкой находимся почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.

Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеемся. Оборванный ванька галопом, помахивая концами вожжей, догоняет наши сани, и мы хохочем. У Филиппа зацепился кнут за полоз саней; он, оборачиваясь, говорит: «Эхма», — и мы помираем со смеху.

Мими с недовольным видом говорит, что только *глупые* смеются без причины, и Любочка, вся красная от напряжения сдержанного смеха, исподлобья смотрит на меня. Глаза наши встречаются, и мы заливаемся таким гомерическим хохотом, что у нас на глазах слезы, и мы не в состоянии удержать порывов смеха, который душит нас. Только что мы немного успокаиваемся, я взглядываю на Любочку и говорю заветное словечко, которое у нас в моде с некоторого времени и которое уже всегда производит смех, и снова мы заливаемся.

Подъезжая назад к дому, я только открываю рот, чтоб сделать Любочке одну прекрасную гримасу, как глаза мои поражает черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остается в том же искривленном положении.

— Votre grande-mère est morte![84] — говорит St.-Jérôme с бледным лицом, выходя нам навстречу.

Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь,

---

[84] Примечания: 84
Ваша бабушка скончалась! (*фр.*)

чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью. Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней. Несмотря на то что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о ее смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это — горничная Ганга. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклинает самое себя, рвет на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи.

Опять повторяю, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.

Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти преимущественно относятся до завещания, которое она сделала перед кончиной и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Иваныча. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение, часто слышу толки о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получаем наследство.

После шести недель Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказывает мне, что

бабушка оставила все имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Иванычу.

Глава XXIV
Я



До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.

Мне весело — ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический

факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т. д., чрезвычайно нравятся мне.

Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня *умная рожа,* и я вполне верю в это.

St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, *что с моими способностями, с моим умом* стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.

Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, по просьбе его, испрашиваю у папа позволения.

Когда *молодые,* с конфетами на подносе, приходят к папа благодарить его и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, целуя каждого в плечико, я чувствую

только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.

Вообще я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, — склонности к умствованию.

Глава XXV
Приятели Володи



Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных

людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть — воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (comme il faut), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «un homme comme il faut». Одно, что было мне неприятно, — это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.

Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только — необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски неопределенного выражения

улыбки, что нельзя было не заметить его.

Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.

Несмотря на то что он казался очень дружным с Дубновым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то *рыженькой*.

Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными; Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание.

Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его *красной девушкой*…

Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то что в его направлении я находил много общего с своим — или, может быть, именно поэтому, — чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко не приязненное.

Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то что он не хочет обращать на меня никакого внимания.

Стыдливость удерживала меня.

Глава XXVI
Рассуждения



Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение — движение самое простое и естественное, но которое заста-

вило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу.

— Что́, ты дома будешь нынче вечером?

— Не знаю, а что?

— Так, — сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.

Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению.

— Володя дома? — послышался в передней голос Дубкова.

— Дома, — сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.

— Что ж, едем в театр, Володя?

— Нет, мне некогда, — отвечал Володя, краснея.

— Ну, вот еще! — поедем, пожалуйста.

— Да у меня и билета нет.

— Билетов сколько хочешь у входа.

— Погоди, я сейчас приду, — уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.

Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел затем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.

— Здравствуйте, *дипломат*! — сказал Дубков, подавая мне руку.

Приятели Володи называли меня *дипломатом*, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть *дипломатом*, в черном фраке и с прической à la coq, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.



Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.

— Куда это ушел Володя? — спросил меня Нехлюдов.

— Не знаю, — отвечал я, краснея при мысли, что они, верно, догадываются, зачем вышел Володя.

— Верно, у него денег нет! правда? О! *дипломат*! — прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. — У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?

— Посмотрим, — сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. — Вот пятачок, вот двугривенничик, а то ффффю! — сказал он, делая комический жест рукою.

В это время Володя вошел в комнату.

— Ну что, едем?

— Нет.

— Как ты смешон! — сказал Нехлюдов, — отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.

— А ты как же?

— Он поедет к кузинам в ложу, — сказал Дубков.

— Нет, я совсем не поеду.

— Отчего?

— Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.

— Отчего?

— Не люблю, мне неловко.

— Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, mon cher[85].

— Что ж делать, si je suis timide![86] Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту, от малейших пустяков! — сказал он, краснея в это же время.

— Savez-vous d'où vient votre timidité?., d'un excès d'amour propre, mon cher[87], — сказал Дубков покровительственным тоном.

— Какой тут excès d'amour propre! — отвечал Нехлюдов, задетый за живое. — Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало amour propre; мне все кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно… от этого…

---

[85] Примечания: 85
Мой дорогой (*фр.*).

[86] Примечания: 86
Если я застенчив! (*фр.*)

[87] Примечания: 87
Знаете, отчего происходит ваша застенчивость?., от избытка самолюбия, мой дорогой (*фр.*).

— Одевайся же, Володя, — сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. — Игнат, одеваться барину!

— От этого со мной часто бывает… — продолжал Нехлюдов.

Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», — запел он какой-то мотив.

— Ты не отделался, — сказал Нехлюдов, — я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия.

— Докажешь, ежели поедешь с нами.

— Я сказал, что не поеду.

— Ну, так оставайся тут и доказывай *дипломату*; а мы приедем, он нам расскажет.

— И докажу, — возразил Нехлюдов с детским своенравием, — только приезжайте скорей.

— Как вы думаете: я самолюбив? — сказал он, подсаживаясь ко мне.

Несмотря на то что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что не скоро мог ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я *умный*, — я думаю, что всякий человек самолю-

бив, и все то, что ни делает человек, — все из самолюбия.

— Так что же, по-вашему, самолюбие? — сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.

— Самолюбие, — сказал я, — есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.

— Да как же могут быть все в этом убеждены?

— Уж я не знаю, справедливо ли или нет, только никто, кроме меня, не признается; я убежден, что я умнее всех на свете, и уверен, что вы тоже уверены в этом.

— Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя, — сказал Нехлюдов.

— Не может быть, — отвечал я с убеждением.

— Неужели вы в самом деле так думаете? — сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.

— Серьезно, — отвечал я.

И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.

— Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?.. Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого нико-

гда не бывает. Ежели и бывает, то все-таки я прав, — прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия.

Нехлюдов помолчал с минуту.

— Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! — сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.

Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею — так они были неясны и односторонни, — для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы

выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.

Глава XXVII
Начало дружбы



С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время.

Мы толковали и о будущей жизни, и об искус-

ствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что все то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастие этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее.

Как-то раз, во время Масленицы, Нехлюдов

был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.

В первый раз, как он после Масленицы снова хотел разговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх: но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.

— Я вам мешаю? — сказал он.

— Нет, — отвечал я, несмотря на то что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.

— Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.

Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.

— Вы, верно, знаете, отчего я ушел? — сказал я.

— Может быть, — отвечал он, усаживаясь подле меня, — но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать отчего, а вы так можете, — сказал он.

— Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас... не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.

— Знаете, отчего мы так сошлись с вами, — сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание, — отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество — откровенность.

— Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться, — подтвердил я, — но только тем, в ком я уверен.

— Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.

— Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете, — сказал я. — А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.

— И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признавать-

ся в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову. Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas, — прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки. — *Сделаемте* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это.

— Давайте, — сказал я.

И мы действительно *сделали это*. Что вышло из этого, я расскажу после.

Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.

Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение

в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым…

А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?..

Комментарии

Детство

«Детство» — первое напечатанное сочинение Л. Н. Толстого. Повесть открывает трилогию о детстве, отрочестве и юности. Первоначально замысел назывался «Четыре эпохи развития»: предполагалась еще одна часть — молодость. Она воплотилась в других созданиях: «Утро помещика», «Казаки»... Когда много лет спустя, в 1895 году, художник П.И. Нерадовский спросил, когда же появится обещанное в конце «Юности» продолжение, Толстой ответил: «Да ведь все, что было потом написано, и есть продолжение «Юности». В «Детстве», как и во всей трилогии, много автобиографического, но сочинение создавалось как обобщенное повествование об «эпохах жизни», истории души вымышленного героя — Николеньки Иртеньева.

Первая рукопись начата в Москве в декабре 1850 года. 18 января 1851 года в дневнике Толстого отмечено задание для себя: «Писать историю дня». «Детство» построено как рассказ о двух днях: в деревне и в московском доме бабушки. Работа продолжалась и была завершена на Кавказе, куда Толстой уехал весной 1851 года со старшим

братом Николаем Николаевичем, офицером русской армии. 4 июля 1852 года повесть, до того несколько раз переделанная и целиком переписанная автором, была отправлена в Петербург. «Я с нетерпением ожидаю Вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое» — такими словами заканчивалось письмо к редактору журнала «Современник» Н. А. Некрасову. Под текстом «Детства» Толстой обозначил лишь свои инициалы: «Л. Н.»

Некрасов ответил в станицу Старогладковскую: «Я прочел Вашу рукопись («Детство»). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения». Перечитав повесть в корректуре, Некрасов высказался уверенно: «Могу сказать положительно, что у автора есть талант».

Повесть появилась в № 9 журнала «Современник» за 1852 год под редакционным заглавием «История моего детства» и с цензурными изъятиями. И то и другое чрезвычайно огорчило

Толстого. В 1856 году, в отдельном издании книги «Детство» и «Отрочество», удалось восстановить и авторское заглавие, и подлинный текст. Впрочем, некоторые ошибки набора остались не замеченными Толстым и были устранены лишь в научном издании 1978 года (серия «Литературные памятники»).

Часть кратких пояснений отдельных слов в повести «Детство» и других произведениях Толстого заимствована из книг: Толстой Л.Н. Избранные произведения. М.: Дет. лит., 1960 (2-е изд., 1977) и Толстой Л. Н. Повести и рассказы (Библиотека мировой литературы для детей). М.: Дет. лит., 1978.

Глава I. Учитель Карл Иваныч

С. 15

Дядька — лицо, приставленное для услуги мальчику.

Рекреация — перерыв между учебными занятиями, каникулы.

«*История путешествий*» — 19-томное издание, вышедшее в Париже в 1746–1770 годах: «Всеобщая история путешествий, или Новое собрание всех описаний путешествий».

Семилетняя война — война 1756–1763 годов за

обладание колониями: на одной стороне был союз Австрии, Франции, России, Испании, Саксонии, Швеции; на другой — Пруссии, Великобритании, Португалии.

В пергаменте — в переплете из пергамента (кожи животных, обработанной особым образом).

Кардон — картон.

Ландкарта — географическая карта.

Глава II. Maman

С. 21

Clementi — Муцио Клементи (1752–1832), итальянский композитор, пианист и педагог. В 1802, 1804–1805 годах давал концерты в России. На этюдах и сонатинах Клементи учатся фортепианной игре и в наше время.

Официантская — помещение для слуг.

Глава III. Папа

С. 24

Экономия — здесь: хозяйство, имение.

Глава V. Юродивый

С. 32

Юродивый — человек с нездоровым рассудком, странно себя ведущий и непонятно говорящий. Верующими людьми юродивые почитались за ясновидящих, прорицателей.

Вериги — железные цепи.

Линейка — длинный многоместный открытый экипаж.

Глава VI. Приготовления к охоте

С. 36

Клепер — порода лошади.

Эволюции — здесь: движения.

Выжлятник — старший псарь, распоряжавшийся гончими собаками.

Стремянный — конюх, ухаживающий за лошадью своего господина; обычно ведал сворой борзых охотничьих собак.

Глава VII. Охота

С. 39

Доезжачий — слуга, ведавший псарней.

Арапник — охотничий кнут для собак.

Бирки — деревянные дощечки или палочки, на которых зарубками и нарезками обозначался счет предметов или мера; служили для счетоводства и учета работ.

Поярковый — сделанный из шерсти молодой овцы.

Остров — здесь: окруженное полями лесистое или болотистое место, удобное для псовой охоты.

Второчить смычки — прикрепить к седлу веревки (смы́чки), которыми гончих собак связывали попарно.

Гончие варили варом — преследовали зверя с неумолкаемым, заливистым лаем.

Заатукали — закричали «ату», натравливая собак. В первых изданиях «Детства» печаталось неверно: застукали.

Глава VIII. Игры

С. 43

«*Швейцарский Робинзон*» — роман швейцар-

ского писателя Франциска Рудольфа Вейса (1751–1797). В заглавии использовано имя знаменитого героя романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1-е изд., 1719).

Глава X. Что за человек был мой отец?

С. 46

Патетический — полный чувств, волнующий.

…приятеля своего А… — композитор А. А. Алябьев (1787–1851), автор знаменитого «Соловья» и других популярных романсов.

…певала Семенова… — Н. С. Семенова (1787–1876), оперная певица; поступила на сцену в 1809 году. Выступала до начала 1830-х годов. Упоминается не раз в рукописях «Войны и мира»; участвует в оперном спектакле, изображенном во втором томе романа.

Глава XI. Занятия в кабинете и гостиной

С. 49

Фильд — Джон Фильд (1782–1837), ирландский пианист, педагог и композитор. С 1802 года жил в России. Давал уроки музыки в аристократиче-

ских домах Петербурга и Москвы. Этот же Фильд, как автор любимого ноктюрна старой графини Ростовой, упомянут во втором томе романа «Война и мир».

Глава XII. Гриша

С. 52

Нанковый — сделанный из нанки — грубого домотканого сукна.

Глава XIII. Наталья Савишна

С. 55

Затрапезное платье — будничное, сшитое из дешевой ткани, которая производилась на фабриках Затрапезнова.

Гербовая бумага — особая бумага с изображением государственного герба.

Вольная — документ, подтверждающий, что крепостной отпущен господином на волю.

Очаковское куренье. — Толстой рассказал об этом и в своих «Воспоминаниях» (1903–1906): Прасковья Исаевна доставала душистую смолку из шкафа, зажигала ее и говорила, что привез это

«куренье» дедушка Толстого, кн. Н. С. Волконский, из-под Очакова.

Корнет — здесь: мешочек, пакетик, сделанный из бумаги.

Глава XIV. Разлука

С. 60

Ластовицы — четырехугольные вставки под мышками у мужских рубах.

Черепенник — здесь: шапка в виде конуса (подобные изделия из гречневой муки пеклись в глиняных «черепках»).

Почтовые лошади — лошади с почтовой станции, служившие для дальних поездок. В пути на станциях происходила смена лошадей.

Глава XVI. Стихи

С. 67

Веленевая бумага — плотная, высокого качества.

Штрипки — тесьма, пришитая внизу брюк и охватывающая ступню под башмаком.

Эполеты — парадные, округлые на концах

погоны с шитьем и завитушками из крученой канители.

Белый крест — здесь: орден.

Сегюр — Луи Сегюр (1753–1830) был в 80-х годах XVIII века послом в Петербурге; автор известных мемуаров о России и книги «Древняя и новая всеобщая история» (1822).

Глава XIX. Ивины

С. 82

Лексиконы Татищева — трехтомный французско-русский словарь.

Глава XX. Собираются гости

С. 89

Ванька — прозвище извозчиков в XIX веке. *Ливрейная рука* — рука слуги, одетого в ливрею — парадную, для выездов и приемов, одежду.

Салоп — верхняя женская одежда.

Хвосты — здесь: род меховых воротников.

Глава XXI. До мазурки

С. 94

Ангажировать — приглашать; здесь: пригласить к танцу.

«*Дева Дуная*» — опера австрийского композитора Ф.Кауэра (1751–1831).

Глава XXII. Мазурка

С. 98

Фатальные — роковые, злополучные.

Глава XXIII. После мазурки

С. 100

Гросфатер — старинный танец с медленными, плавными движениями. (В переводе с немецкого — «дедушка».)

Глава XXVIII. Последние грустные воспоминания

С. 121

Причт — служители в церкви.

Отрочество

Работа над «Отрочеством» началась в декабре 1852 года и завершена весной 1854 года. Отправляя рукопись, Толстой подписал ее: «Л.Н.Т.» Прочитав повесть, Н. А. Некрасов поспешил высказать свое мнение: «Если я скажу, что не могу прибрать выражения, как похвалить Вашу последнюю вещь, то, кажется, это будет самое верное, что я могу сказать… Талант автора «Отрочества» самобытен и симпатичен в высшей степени, и такие вещи, как описание летней дороги и грозы, или сидение в каземате, и многое, многое дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе».

«Отрочество» появилось в № 10 «Современника» за 1854 год, с цензурными изъятиями. Редактор журнала извещал: «Его изрядно общипала цензура, вымарав многое из первых проявлений любви в отроке и кое-что там, где рассказчик говорит об отце». В 1856 году текст был восстановлен. И.С.Тургенев послал номер журнала сестре Толстого Марии Николаевне, а литературному критику и другу П. В. Анненкову написал: «Я на днях познакомлюсь с сестрой Толстого (автора «Отрочества» — скоро не нужно

будет прибавлять этого эпитета, одного только Толстого и будут знать в России)». Увидав у М. Н. Толстой портрет ее брата, Тургенев заметил: «Некрасивое, но умное и замечательное лицо». Публикация «Отрочества» пробудила интерес к Толстому у Ф. М. Достоевского, находившегося тогда в ссылке. На выход в 1856 году двух книг Толстого «Детство и отрочество» и «Военные рассказы» откликнулся в «Современнике» замечательной статьей Н. Г. Чернышевский.

Глава I. Поездка на долгих

С. 133

Поездка на долгих — поездка на дальнее расстояние на одних и тех же (несменяемых) лошадях, с остановками в пути.

Дворник — здесь: содержатель постоялого двора.

Глава IX. Продолжение предыдущей

С. 163

Ульм, Аустерлиц, Ваграм — во всех этих сражениях (8 октября, 20 ноября 1805 г., 5–6 июля 1809 г.)

австрийские войска потерпели поражение.

Глава XI. Единица

С 169

Книга Смарагдова — «Руководство к познанию древней истории» для средних учебных заведений, составленное С. Н. Смарагдовым (1805–1871).

Книга Кайданова — «Краткое начертание всемирной истории» И.К. Кайданова (1782–1843).

Людовик Святой — французский король Людовик IX (1215–1270), предпринявший в 1249 году крестовый поход в Палестину. Его мать — Бланка Кастильская (1188–1252).

Глава XIX. Отрочество

С. 199

Шеллинг — немецкий философ-идеалист Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775–1854).

Глава XXVII. Начало дружбы

С. 220

Карр — французский писатель Жан-Альфонс

Карр (1808–1890). Толстой, судя по дневнику, перечитывал его сочинения летом 1854 года, в пору работы над своей трилогией.